

БОРИСПЕТРОВ

ОГНИ

АКСУАТА

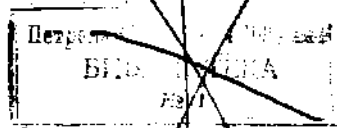
522943

АЛМА-АТА

Борис Петров

ОГНИ АКСУАТА

ПОВЕСТЬ
и
РАССКАЗЫ



Казахское Государственное Издательство
Художественной Литературы

Алма-Ата — 1962

Любимые герои Бориса Петрова — простые люди нашей сегодняшней деревни, без громких слов делающие большое и нужное стране дело. Они не боятся трудностей и идут туда, где наиболее необходимы. Герои Петрова — не ходячие схемы: они часто ошибаются, страдают, далеко не все гладко в их личных судьбах. Но это — живые честные люди с горячей душой и пытливым умом.

Повесть «Огни Аксуата», рассказы «Ольга», «У реки» и другие полны настоящего глубокого лиризма, написаны в мягкой проникновенной манере. И они, без сомнения, найдут своего читателя.

528943

Северо-Казанская
областная библиотека
им. С. П. ДЮБОВА

г. Казань

ОГНИ АКСУАТА

ПОВЕСТЬ

1

В пизине, неподалеку от затопленного вешней водой березового колка, машина остановилась. Мотор, точно поперхнувшись, закашлял, стрельнул сизым дымком и смолк. Стало тихо-тихо.

Таня прижалась затылком к кабине, смежив веки, сквозь дрему слушала, как постукивает пробка на перегретом радиаторе и где-то возле дороги стеклянно булькает ручеек. Наступивший внезапно покой наполнял тело приятной ленью, даже эти бесконечные на пути от райцентра остановки уже не вызывали досады. Тревожили только ноги, давно занемевшие от холода. Таня пошевелилась, стараясь запрятать ботинки поглубже в сено, и выглянула из кузова. Машина стояла, увязнув в глубокой колее, посреди разбитой и размешанной похожей на болото дороги. Рядом с этим морем воды и грязи тянулась пашня — извилистые серые жгуты пластов с прожилками снега. Впереди за увалом маячили шиферные крыши поселка и мачта ветродвигателя. Солнце давно уже село, но было светло, сумерки густели медленно. Пахло влагой, березовой корой, снегом и бензинным перегаром.

Щелкнула дверца, шофер высунулся из кабины, хриплым простуженным голосом сказал:

— Приехали: станция Березай, кому надо вылезай. Конечная остановка.

— Что это впереди, Ивановка? — спросила Таня.

— А черт знает, Ивановка или Петровка, — раз-

дражленно ответил шофер.— Факт тот, что засели окончательно и дальше придется вам, барышни, добираться на своих двоих.

Сидевшая рядом с Таней в кузове Верочка Кийко высвободила из-под воротника шубки покрасневший носик, страдальчески сморщилась.

— Несчастные люди — учителя. Мучились на совещании, а тут еще пешком тащиться. Как же мы пойдем по такой грязище? Ты соображаешь, что говоришь, товарищ?

— Соображать нечего. Выбирайтесь и топайте, пока светло.

— Ну, это уж, знаешь...— Верочка возмущенно вскочила на колени, страдальческие нотки в ее голосе пропали.— Провез полпути — и пожалуйста! А сдачи небось не сдашь с двадцати пяти рублей?

Усталое чумазое лицо шофера стало злым.

— Да нужны мне очень ваши двадцать пять рублей! Я вас по-человечески... Не хотите идти — дело хозяйское. Можете хоть всю ночь дышать тут свежим воздухом. А деньги я могу возратить, если у вас душа о них заболела,— запальчиво добавил он, пытаюсь растегнуть пиджак и добраться до кармана.

Хорошо, — согласилась Таня, — мы слезем. Только никуда не пойдем. Надо выручать машину, а не вериничать.— Она решительно перелезла через борт и сразу чуть не по колено погрузилась в вязкое месиво.

Верочка со страхом следила за подругой.

— Танька, утонешь ты, честное слово. Подожди минутку, вон машины идут. Неужели не найдется добрая душа помочь нам?

В низину на большой скорости спускался бензовоз. Тяжелая машина стремительно неслась, лязгая гулкой цистерной, вздымая каскады грязи, готовая, казалось, все смять и сокрушить на пути. Таня решила, что она так и проскочит мимо и только посторонилась, чтобы не окатило грязью. Но бензовоз вдруг с размаху стал метрах в пятнадцати, точно наткнувшись на невидимое препятствие. Из кабины вылезли двое, о чем-то посоветовались вполголоса и направились к застрявшей машине.

Первым подошел смуглолицый парень в телогрейке и в сдвинутой на затылок фуражке со звездочкой. В его невысокой, крепко сбитой фигуре чувствовалась солдатская выправка. Прутиком, подобранным по пути, он неторопливо сбросил с сапога грязь, оглядел машину. На девушек почти не обратил внимания, лишь коротко метнул прищуренным взглядом и повернулся к шоферу.

— Что стряслось, приятель?

Шофер, еще не остывший от обиды, хмуро отозвался:

— Болото проклятое. Подперло под самый дифер— ни назад, ни вперед.

— Дай лопату,— парень отбросил прутик.— Иначе сидеть тебе здесь с пассажирами до сухой дороги.

«Добрая душа, действительно» — подумала с усмешкой Таня, задетая его высокомерием. Закусив губы, нахмурилась.

Подошел второй парень, щуплый, в полупальто, с острым птичьим носом и неопределенного цвета чубчиком, торчавшим из-под кубанки. Посмеиваясь, подергивая плечами, развязно заговорил:

— О, вижу женское общество! Прекрасные незнакомки, попавшие в аварию. Разрешите узнать, далеко ли путь держите?

На вопрос охотно ответила Верочка Кийко, повеселевшая от возможности не покидать кузова.

— Мы учителя, возвращаемся с методического совещания в Ключи.

— Приятное совпадение. По тому же адресу следуем и мы. Не отчаивайтесь, мы эту вашу музейную редкость вытянем в один момент!

— Кто это «мы»? — не удержалась от иронического замечания Таня.

— Могу представиться,— парень в кубанке сделал поклон, театрально прижал к груди ладонь.— Леонид Волнухин, шофер второго класса в недавнем прошлом. В настоящее время механизатор, по комсомольской путевке. А это мой, так сказать, шеф,— показал он на солдата,— демобилизованный воин Матвей Борзов. Прощу сюда, сэр..

Погоди ты,— Борзов, выбрасывавший лопатой грязь из-под колеса, выпрямился, отвел от себя его руку. И сейчас сяду за баранку, а ты подтолкнешь. Что касается гражданки,— повернулся он к Тане,— то лучше ей залезть в кузов и не мешаться.

— Что это — приказ или просьба?

— Разберемся на сухом месте, а сейчас некогда. Ну, давайте...

Он шагнул к Тане, и не успела она опомниться, как его сильные руки приподняли ее и перенесли в кузов. Это уже была дерзость, на которую следовало ответить тем же. Но едва Таня встала на ноги, как опять повалилась на сено. Машина дернулась, как получивший кнута конь. Вся затряслась, задрезжала от натуги и вдруг медленно, сантиметр за сантиметром, поползла вперед.

— Выберемся, честное слово! Я же говорила, свет не без добрых людей. И каким только ветром занесло сюда этих ребят? Ты обрати внимание, что это за молодец! — ликовала Верочка, глядя на водителя восторженными глазами.

Борзов стоял на подножке кабины, подавшись вперед, и одной рукой выкручивал руль, а второй придерживал дверцу, мотающуюся, как подбитое крыло птицы. Крепкий, свежестриженный затылок его побагровел от напряжения, фуражка съехала на затылок.

«Рисуется»,— подумала Таня, а вслух сказала с вызовом.

— Еще неизвестно — выберемся мы или нет, а вот грипп этот товарищ подхватит определенно.

Но Борзов или не расслышал за шумом мотора, или не счел нужным ответить, продолжал молча выруливать. Старая, разбитая, истрепанная трехтонка хрипела, как человек, мучимый одышкой, но все же постепенно набирала скорость. Волнухин с шофером сначала подталкивали ее сзади, потом отстали.

Борзов остановил машину на увале, спрыгнул с подножки и рукавом устало вытер лоб. Сняв фуражку, стал обмахиваться ею, как в жаркий день.

— Послушайте, любитель приказывать,— не утерпела Таня,— вы непременно хотите простудиться?

Борзов вскинул голову и посмотрел на нее так, словно впервые увидел.

— А вы бы проявили чуткость и дали платок,— сказал, пряча дерзкие смешинки в прищуренных глазах.— Как-никак ради вас старался.

— Не представляете, как мы благодарны! Вы такой смелый, такой решительный,— Верочка вот-вот готова была произнести восторженную речь.

— Но платок жалеете?

Таня решительно открыла сумочку, достала свернутый уголком свежий носовой платочек.

— Возьмите.

Парень заколебался.

— Что же вы! Берите,— повторила Таня.

— Хорошо,— согласился Борзов,— спасибо. Только должен предупредить, штука эта может вернуться к вам в несколько ином виде.— Он кончиками пальцев бережно взял лоскуток голубого полупрозрачного шелка, встряхнул, подержал на ладони, потом неожиданно повернулся, и, нахлобучивая на ходу фуражку, зашагал навстречу отставшим товарищам. Подруги молча смотрели ему вслед.

— Ну и ну, Танька, а твой платок? — На скуластом, порозовевшем личике Верочки был испуг.— Он же унес его с собой. Пропал платочек. И, наверное, еще тот, который я тебе обвязывала?

— Тот самый.

— Ужас! Рассталась с вещью, на которую подруга затратила столько времени, и довольна? Да?

Таня не ответила. Запрокинув голову смотрела в зеленоватое холодное небо, на котором кое-где уже колюче подмигивали звезды, и смутно ощущала странную тревогу, родившуюся вдруг в глубине души.

II

Сидя одна в классе за столиком, накрытом газетой, Таня Волошина проверяла тетради. Давно отзвонел последний звонок, умолкли голоса ребят. В кори-

доре сторожика мыла пол, шлепала мокрой тряпкой. Предвечернее затишье в школе нравилось Тане. Остатки после уроков в учительской, а то и в опустевшем классе — вошло в привычку. Здесь, в знакомой до мельчайших подробностей комнате с разномастными исчерченными и изрезанными перочинными ножами партами, с запахом мела и осевшей пыли, было лучше, чем в доме Селезневых, где Таня жила на квартире. Двойные окна, потускневшие за долгую зиму, надежно ограждали от соблазнов весны, а заодно и от лишних раздумий. Но сегодня точно что-то выбило ее из привычной колеи. Таня больше глядела в окно, за которым вздымался могучий карагач, да покусывала кончик ручки, которой работала. И к чему-то все время прислушивалась.

Различать буквы делалось все труднее. Сумерки паутиной повисали в воздухе. Таня вывела в конце страницы отметку, закрыла тетрадь, выпачканными в красных чернилах пальцами подавила на уставшие веки. По коридору козлиными копытцами простукали каблучки, громыкнула тяжелая застекленная дверь.

— Вот ты где, притаилась, как мышка! Ну, теперь не спрячешься.— Верочка Кийко в легком пальто, в белой пуховой шапочке с помпончиком, маленькая, холодная, обхватила сзади за плечи, носом ткнулась в щеку.

— А я к вам заходила, на дверях замок. Куда это твои хозяева дорогие подевались?

— Наверное, ушли на собрание.

— Все куда-нибудь да идут, одна ты сидишь, как затворница,— с упреком сказала Верочка.— Неужели не надоело тут за день? Покажи, чем хоть занимаешься? Корпит над ошибками! А я прибежала позвать тебя на танцы. Пойдешь? Кстати, хочу тебя спросить...

— О чем?

— Ни о «чем», а о ком. Скажи, тот заносчивый механизатор, который помог нам возле Ивановки, платок тебе не вернул?

В классе было уже темно, и это спасло Таню. Не увидела Верочка, как она жарко покраснела под ее пытливым взглядом.

...Тогда они только в глубоких сумерках добрались до села. Звездное небо казалось огромной ледяной чашей, опрокинутой над землей. Продрогшие подружки сидели в кузове, тесно прижавшись друг к другу. Только бы поскорее попасть куда-нибудь в тепло, отогреться. Решили разыскать в селе знакомую учительницу и у нее переночевать. Но вышло все по-иному. Едва машина вползла на крайнюю улицу, на подножку вскочил Борзов, что-то сказал шоферу и тот сразу свернул с дороги, упершись фарами в беленую стену саманного дома. Борзов заглянул в кузов, тоном приказа кинул:

— Ступайте греться.

Таня заколебалась — идти в неизвестный дом с чужими людьми, ночью... Но жажда тепла победила. Как только очутилась в избе, слабо освещенной увернутой керосиновой лампой, жарко натопленной, у Тани стали слипаться глаза. Она присела у порога на кончик скамейки, и все, что делалось вокруг, доходило до нее, как сквозь туман. В избу входили, хлопала набухшая дверь, смеялась Верочка, в колени толкался влажной горячей мордочкой привязанный у порога теленок. Потом Борзов с той же настойчивостью сунул им с Верочкой в руки по ломтю хлеба со шпиготом, а старуха-хозяйка заставила их раздеться и лезть на печку. Здесь, на печи, за ситцевой глухой занавеской усталость окончательно сломила Таню. Проснулась она, когда в избе было уже светло. На столе на голубой клеенке горели солнечные блики. Попутчики исчезли. На полу сидел взлохмаченный заспанный шофер и ругался, мучаясь с ссохшимися за ночь сапогами.

!

III

— Так ты не знаешь, где этот Борзов? — настойчиво повторяла Верочка.

— Нет...

— Здесь он, учти. Назначен бригадиром тракторной бригады. Ходит с палочкой, не глядит ни на кого... Вот что, Танька, — глаза Верочки заговорщически

сушились. Давай проявим решимость. Что это такое на самом деле? Один раз платок взял и не вернул, а в следующий раз до пальто доберется. Если ты не хочешь вернуть свою собственность, то я это сделаю. Ну, собирайся, хватит глаза портить, — распорядилась Верочка и сама принялась собирать со стола тетради.

Подруги вышли из школы. Солнце большим багровым диском висело над крышами. Вечерний воздух был голубоватым от кизячного дыма. По улице с грохотом и лязгом трактор тянул на санях целую гору золотистой соломы. Снега на дороге давно уже не было, и сделанные из бревен широченные неокованные полозья тяжело волочились по земле, оставляя глубокие, будто отшлифованные борозды. На самом верху огромного веза стоял во весь рост человек с вилами в руках. Вот он воткнул вилы в солому, подошел к краю веза и вдруг скользнул оттуда на землю. Верочка ахнула:

— Упал!

Таня испуганно остановилась. Но человек исчез. Видимо, успел уйти под прикрытием медленно ползущих саней.

Первой опомнилась Верочка.

— Танька, а ведь это он, честное слово! Легок на помине.

— Кто «он?»

— А о ком речь вели? Сумасшедший — спрыгнуть с такой высоты! Ну, я тебя жду в клубе.

Верочка побежала домой, а Таня свернула к конторе (в Ключах было отделение совхоза), чтобы разыскать хозяйку, сидевшую там на собрании, и взять у нее ключ от квартиры. С трудом протиснулась она сквозь толпу в прокуренном коридоре. Чья-то широкая спина закрывала вход. Золотистая с прозеленью соломинка, зацепившаяся за рукав ватника, напомнила Тане человека спрыгнувшего с веза. «Он! Конечно, он». Ей стало неловко от этого неожиданного соседства, но отступать было некуда. Просторное с аркой посредине помещение конторы было набито до отказа. Сидели и стояли где только можно. Махорочный дым сизыми пластами плавал под потолком. За-

катное солнце пронизывало комнату багровыми шпалами, горело на обклеенной плакатами стене. За столом, где в обычное время пощелкивал на счетах угрюмый старик в очках — бухгалтер отделения, сидели заведующая молочно-товарной фермой Наталья Сергеевна Козик, управляющий отделением Василий Кудашкин и какой-то незнакомый Тане бритоголовый толстяк в кожаном пальто. Директор совхоза Егор Петрович Лукьянов — грузный, с темными густыми усми, стоял возле стола с записной книжкой в левой руке. Правый рукав его синего шевиотового кителя был пуст и аккуратно заправлен в карман.

Таня прислушалась к его ровному глуховатому голосу.

...Зерновая отрасль хозяйства в наших условиях — главная. Мы имеем возможность в ближайшие годы производство зерна удвоить. Если среднюю урожайность по совхозу в целом с семи-восьми центнеров с гектара довести до двенадцати, мы получим прибавку порядка полумиллиона пудов. Плюс — целина. У нас есть земли так называемых низших категорий. До сих пор на них махали рукой. Но это пахотнопригодные земли. Пренебрегать ими — слишком большая роскошь. Поэтому мы считаем, что можно поднять не менее двух тысяч гектаров целины уже в этом году с тем расчетом, чтобы часть засеять по весновспашке, а остальное оставить под посев будущего года. Основной массив неиспользованной земли приходится на долю Ключей. Это земли вокруг озера Аксуат...

— Ты погоди-ка, Петрович, — перебил директора стариковский голос, — вспахать не хитрость, но не рискованно ли насчет Аксуата? Там ведь чуть ковырнешь поглубже, и вот он — солонец-то! А ежели еще сушь, как в прошлом году? Дождик-то когда сбрызнул, в июле? Да и то, как ленивый батюшка с кропила.

— Без риска, дед Корней, и шей горячих не похлабашь, — улыбка тронула усы Лукьянова. — Нет, это не риск, — продолжал он, прогнав улыбку. — Это наука и опыт. В недалеком от нас Камышенском районе земли почти все засоленные, но их пахут и получают неплохой урожай. Я знал, что возражения будут

начет Аксута, и нарочно прихватил с собой нашего соседа — директора совхоза «Заря», — Лукьянов показал на толстяка в кожанке. — В прошлом году у них солонцовые земли дали по десять центнеров, больше чем у нас старобахотные. Поп, наверное, щедрее был, а, Степан Сафонович?

Толстяк в кожанке отнял от бритой головы руку с платком, охотно принял шутку.

— А мы его угостили — литровку выставили. Охоч оказался на выпивку, как и все батюшки.

В зале засмеялись. Но старик не сдавался:

— С «Зарей» нас не равняй, Петрович. В этом углу сроду больше дождей. Да и солонец солонцу рознь...

— Выходит, степя все уже перепаханы, ежели до выпасов добрались, так зать... — вмешался в разговор негромкий с покашливанием басок. По этому «так зать» вместо «так сказать» Таня сразу узнала Платона Селезнева, у которого жила на квартире. Платон во время войны работал председателем колхоза в Ключах, потом бригадиром, завхозом, но отовсюду его гнали за стяжательство.

— Опадут село кругом, будешь, как в загоне, так зать. Ни тебе сена накосить, ни скотинку выгнать. Одной погодой упрешься, а другую и поставить негде. К тому идет. Вои в Отрадном жалуются — подняли целину, ребятишкам цветочка летом сорвать негде. Писать надо, мужики, в область, а не ответят — выше куда, так зать...

— Пиши, кум, посоветовал кто-то, — сена, мол, не будет на продажу. На базар везти нечего, особенно, когда оно подорожает, — к концу зимы...

— Не обо мне речь. Вам, дуракам, толкуй, тут обчая забота. Скот государственный где пасти, ежели все перепашем?

— Тише, товарищи. — Кудашкин постучал карандашом по графину с водой. У кого какие вопросы — прошу организованно. Без галдежа.

— А вот мне позвольте слово. — Рядом с шапкой Платона Селезнева вскинулась вверх рука в потертом овчинном рукаве и во весь свой богатырский рост

поднялся Петро Чупров, отец Таниного ученика, бородатый и курчавый, как царь Соломон. В Ключах его называли Петром Большим в отличие от двоюродного брата горбуна, тоже Петра. Оба Чупровы были мастера на все руки: кузнецы, плотники, печники и очень дружили между собой. Всюду они были вместе — один большой, бородатый, припадающий на протез (оставил ногу в далеской Силезии), второй, похожий на гнома, но весь палитый силой, с длинными руками, как у всех горбунов, в которых любой инструмент играл. Братья и на собрание пришли вместе, прямо с мельницы, которую недавно их стараниями удалось пустить. Мучная пыль изморозью белела на полшубках братьев.

— Так вот, товарищи, — покашляв в кулак, начал Петро Большой и оглянулся на сидевшего рядом горбуна. — Мы тут подумали с братом: правильная задача ставится — посев увеличить. В хлебе вся сила. Будет хлеб — будет и мясо и молоко. Здесь возле меня Платон Селезнев об цветочках горюет. Знаем мы его горечь. Старые времена ему жалко, когда на Аксуате выпаса в аренду сдавались. Я тебе участок, а ты — мне песколько бумажек без оприходования в кассе, да бутылку с красной головкой, — Чупров отмахнулся, как от мухи, от вскочившего было Селезнева. — Сиди. Личностей я не касаюсь. Выпаса на Аксуате хорошие, слов нет. Но держаться за них нечего. У нас вон задача: продукцию животноводства поднять чуть не в три раза. И на одних только естественных пастбищах тут далеко все равно не ускачешь.

— А чем кормим скот-то, посмотрели бы! — вскинулась вдруг сидевшая до этого, казалось, с совершенно безучастным видом Наталья Козик. Немолодое, полное лицо ее порозовело, быстрые пальцы нервно разматывали шаль. — Прутьями кормим. Да и тех не было бы, ежели б не приезжие ребята-трактористы. Спасибо им, помогают, солому возят. Видать, за наши дела стыдно людям.

— Погодите вы, — досадливо поморщился Кудашкин. — Какие прутья? Вводите в заблуждение...

— А что, не прутья? С марта месяца на соломе-

Надеемся на подножный корм, а они, бедные, ясли грызут! Про какую-либо механизацию и речи нет, девчата носят корм в подолах и еще согласны носить. Только было б что.

— Сейчас мы надоев не касаемся. Обсуждается вопрос полеводства...

— А не знаешь где и говорить, Василий Кузьмич, голова кругом.

— Где же у вас силос? — спросил директор совхоза «Заря».

— Господи, какой там силос! Гектары были, а кукуруза под копыта ушла.

— Товарищ Козик, — Кудашкин слержанным жестом откинул со лба пышные подзолоченные солнцем волосы, постучал опять карандашом по стакану. — Я прошу не уводить собрание от существа. У нас же повестка дня такая: проведение весеннего сева...

— А что на самом деле? О молоке только разговор, а дальше не едем. У других слышишь: электродойка, новые коровники... А тут задумали в кой век водопровод провести, трубы купили, покричали, похвалились да все и бросили. Трубы поржавели, насос раскулачили. А ведь все это денежек стоит!

Лукьянов остановил спор.

— Дадим человеку договорить. Петр Анисимович, за тобой слово.

— Разговор тут какой: рукава надо засучивать всем и за дело браться. Весна ждать не будет. Мы с братаном, значит, опять на сеялки встанем или где потребуется. Так и остальные. Другой вопрос. Как я понял, нынче и по старой площади сеять и частично на той же, что припашем. К тому же подъем целины. Большой масштаб. А как с машинами, значит, и вообще?

— Да, масштаб большой, — согласился Лукьянов. И условия трудные: весна запоздала. У нас на севере как: и поторопился с севом — плохо, и запоздал — тоже. Чем мы располагаем? Семена есть. Государство дало. Техники нам прибавили, люди подъехали. В вашем отделении кроме той тракторной бригады, что была раньше, мы организовали еще одну — молодеж-

ную. Ребята в ней как на подбор — орлы. Правда, что-то бригадира не видно на собрании...

— Я здесь! — отозвался Борзов и стал осторожно протискиваться вперед.

— Орлы, — донеслось до Тани насмешливое покашливание Платона Селезнева. — Это такие орлы — двери от них запирай покрепче. Они нам напашут и насеют, дождешься. Машины гоняют чуть не в отхожее место, так зать. Набрались с Камы, с Волги...

Таня вспыхнула и низко-низко наклонила голову, делая вид, что застегивает замок на портфеле. Ее тронули за руку — Катя Селезнева. По-детски чистое розовошеекое лицо с бородавкой на подбородке, в глазах чуть заметная милая косинка.

— Ой, вы, наверное, за ключом? А я его спрятала за дверь. Садитесь, Татьяна Николаевна, — девушка подвинулась, освобождая кончик скамейки. — У меня же записка к вам, с утра таскаю.

На мгновенье что-то тревожное дрогнуло в Тане. Записку она развернула уже выйдя из конторы.

«Татьянка! Может, глупостью покажется эта переписка, а только иначе не могу никак. Когда же мы встретимся, чтобы поговорить всерьез? Где хочешь назначь место, я на все согласен. Без конца такая неопределенность в наших отношениях продолжаться не может. Трудно, да и пальцем все тычут. Ответ передай с Катериной.

Твой Василий Кудашкин».

Плохо улавливая смысл, Таня пробежала набросанные вкривь и вкось знакомые карандашные строчки, потом порвала записку и, подняв руку, разжала ладонь. Бумажки, подхваченные ветром, белыми мотыльками покружились в воздухе и медленно осели на прошлогоднем бурьяне под плетнем.

IV

С собрания Матвей Борзов и управляющий отделением Василий Кудашкин возвращались вместе. Сумерки кутали село, тускло перемигивались в небе редкие

звезды. Деревенская широкая улица, тропка вдоль плетней и заборов, домашний запах дымка, как все это было привычно с детства и мало вязалось с недавним представлением Матвея о целине. Да, многое рисовалось совершенно иным сержанту Борзову, когда полтора месяца назад он с небольшим чемоданчиком в руках соскочил с подножки дальневосточного экспресса на крохотной, занесенной снегом станции. Много было заманчивых строек на Волге, на Ангаре, на Урале, но выбрал он целинный край, Северный Казахстан и поехал туда, не побывав даже дома, во Владимирской области. Мечтал о безбрежных суровых степях, о палатках, о дымных кострах на ветру. Обо всем, что так заманчиво расписали в газетах и журналах о целинниках. Разочарования начались сразу же, едва он встретился на станции с пареньком с красной повязкой на рукаве — дежурным от райкома комсомола, встречавшим приезжих. Вместо немедленной отправки дальше, в совхоз, дежурный отвел Матвея в стационарный клуб, приспособленный под общежитие, где уже томилась десятка два парней. Ждали «транспорт», который задерживался из-за буранов, и это ожидание затянулось чуть не на целую неделю. Матвей изнывал от вынужденного безделья. Стоило спешить ехать, мечтать... Своим настроением заразил он и новых приятелей — Леонида Волнухина и Гошку Свиридова, с которыми познакомился в общежитии. Втроем осаждали дежурных, ходили на станцию «выяснить обстановку», пытались дозвониться до какого-нибудь учреждения в областном центре.

«Транспорт» — тракторные сани с утепленной будкой наконец прибыл. Но главное огорчение было еще впереди — повезли их не в целинный совхоз, а в совхоз, недавно организованный на базе колхозов. Матвей, пожалуй, сбежал бы по дороге, если бы не пурга. Путь до совхоза Озерный занял трое суток, и трое суток, не затихая, бушевал мартовский беспросветный буран. Так в снежной коловерти, измучившись и перемерзнув, добрались поздно ночью до места. Наутро метель улеглась, и Матвей, выйдя на воздух, тоскливо огляделся. Усадьба совхоза — бывшая РТС — огоро-

женная забором из жердей, ремонтная мастерская с цифрой 1933 на фасаде. За озером на горизонте — березовые леса. Какая же это целина?

Матвей решил тут же отправиться в райком партии. Был уверен, что там-то его поймут. Но в первый день не на чем было поехать, потом всех прибывших заставили откапывать из-под снега машины, Матвея назначили бригадиром тракторной бригады. И так попасть в райком не пришлось. За работой он несколько поуспокоился, но не смирился. Собираясь в Ключи, решил про себя — только на весну. Но, странно, именно здесь это чувство неудовлетворенности как-то впервые отодвинулось от него. На собрании он вместе со всеми горячо обсуждал вопросы предстоящего сева и ни разу не вспомнил о своем намерении перебраться в другой совхоз. И сейчас шел и все размышлял, что еще нужно для бригады перед выездом в поле.

Поравнялись с угловым пятистенным домом, новая шиферная крыша которого отчетливо белела в темноте. Кудашкин остановился.

— Ну вот моя ката. Может быть, зайдем чайку выпьем?

Управляющий отделением был на «ты» с Матвеем с первой встречи. Оставшись наедине, сказал с дружеской откровенностью:

— Нам с тобой, солдат, одну упряжку тянуть. И ругать будут обоих и похвалят, если заслужим. Главное — чувство локтя. Каша заваривается круто, и уж кому-кому, а нам достанется в первую очередь в случае какой осечки...

Какую он имел в виду «кашу», Матвей не понял. Разговорчивый, любящий шутку, сейчас управляющий выглядел непривычно хмурым. Задумчиво потрогал рукой острия штакетной оградки, усмехнулся.

— Директора ждал, думал, ночевать останется. Не захотел. Побоялся — угостить не сумею. А между прочим, люди покрупнее сидели за моим столом, не брезговали. Чем богаты, тем и рады.

— Откуда он у вас? — спросил Матвей, нашарив в кармане смятую папиросу и чиркая спичкой.

- Вообще-то местный. Из Озерного. Работал агрономом в МТС, потом в области. Осенью перевели сюда. Как говорят — для укрепления руководства. Выпалает в производство четвертый месяц.

— А по-моему, он мужик дельный. Вопросы ставит правильно.

— Конечно, теперь это легко. Пусть бы он в колхозе попробовал. А то — раз-два — рассчитал: столько-то вспахать, столько-то посеять — и полмиллиона пудов в кармане. Приказ подпишет — выполняй.

— Погоди,— насторожился Матвей.— А ты что, не веришь?

— Я не об этом. Ты, Борзов,— солдат и человек новый. Для тебя видно только то, что на поверхности. Думаешь, в солонцах дело? Тут все проще. Гонор показать надо, вот, мол, сейчас работаем, а раньше тут все только небо зря коптили.

— А критика тебя, видать, здорово заела. Ты слушай и мотай на ус.

— Критика бывает всякая. Многие шумели на собраниях, а почему? Спрашиваешь с них работу, а это не нравится. Им и в колхозе было плохо, и в совхозе — тоже.

— Ну, фермой у нас действительно надо заняться,— возразил Матвей.— Заведующая жаловалась законно. От соломки коровы надоя не прибавят, скорее ноги вытянут. Потом, почему свиней мало? Тут такое раздолье, а у вас два десятка хрюшек, и те на ладан дышат.

— Отношение у нас к свиньям свинское,— шуткой ответил Кудашкин и снова нахмурился.— В хату их к себе не возьмешь. А зима — семь месяцев. Когда агитировали за совхоз, золотые горы сулили. А что вышло? Своя рубашка ближе к телу. Капитальные затраты для центральной усадьбы в первую очередь, а на отделения — что останется. У директора две моих докладных с просьбой выделить деньги на строительство коровника лежат под сукном. Третью писать собираюсь...

Матвей курил, молча слушая жалобы управляющего. «Что он за человек?» На вид вроде и не плохой

парень, интеллигентный, всегда аккуратно одет, чувствуется, что в хозяйстве разбирается.

Знал, что до организации совхоза Кудашкин был председателем колхоза в Ключах, потом перешел на должность управляющего отделением. Чувствовалось, что разговор им затеян для того, чтобы как-то выгородить себя перед новым человеком.

— Младно, и пошел, — перебил его Матвей, потушив об окурки окурок. — Скажи, будут завтра люди? Нужно еще пять сеяльщиков и троих на прицепы. Учи.

V.

Приятели квартировали артелью в доме тракториста Богаенко, местного жителя. Когда Матвей пришел, были все в сборе. В тесной с наклонным потолком горенке-пристройке горела керосиновая лампа, поставленная на опрокинутую вверх дном глиняную кринку. Топилась плита, постреливая и весело бросая на пол сквозь отверстия в заслонке золотистые блики. Гошка Свиридов, прозванный за медного цвета шевелюру Рыжиком, возился за столом с будильником. Это было его страстью — не одно — так другое — что-нибудь мастерить. За несколько дней он перечисил хозяйке все старые ведра и тазы и начал было брать бесплатные заказы у других соседей, но приятели восстали: от жестяного хлама в комнате невозможно было повернуться. Волнухин в новом пиджаке, изрядно помятом за время лежания в чемодане, выбритый, наодеколоненный, чистил гуталином сапоги, поставив ногу на краешек топчана. Хозяин дома Никола Богаенко, здоровяк с попорченным оспой кирпичной красноты лицом, дымил сигаркой, сидя на корточках перед печкой. Он был в пальто и шапке, видимо, зашел сюда прямо с собрания.

Четвертым в компании был незнакомый чернявый парсенок в очках, в клетчатом модном пальто, на которого Матвей не сразу обратил внимание. С видом человека, привыкшего к частым знакомствам, парсенок поднялся с топчана, с улыбкой протянул руку.

— Товарищ Борзов? Очень рад. Алянский, журналист. Я вас жду. Имею срочное задание от редакции дать очерк о демобилизованном воине. Посоветовали вас. Жалко, что я не успел побывать на собрании. Но мне рассказали товарищи...

— Что они рассказали? — спросил Матвей, немного ошеломленный столь стремительным подходом к делу.

— Ну, это же замечательно: совхоз, созданный на базе экономически слабых колхозов, и целина! Это, если хотите, факт большого звучания. Нетронутую богатую степь распахать — одно, а вот выкроить дополнительные резервы из земель уже обжитых, которые считались бросовыми, преодолевая привычки, возражения, а может, и прямую косность людей, — совсем другое. Расскажите, пожалуйста, про себя, про ваших товарищей. Подробнее об обязательствах бригады. Как рассчитываете провести сев за десять дней. Добиться стопудового урожая на всей площади посева? О трудовых подвигах... — говорил корреспондент, торопливо доставая из кармана блокнот и авторучку.

Матвей нахмурился.

— Подвигов пока никаких нет, и писать особенно не о чем.

— Но будут подвиги, обязательно будут, — возразил Алянский. — Мы возьмем немного авансом. Ничего страшного. У вас большая бригада? Все комсомольцы? Почти. Ах, часть людей на местах? Прекрасно. Так и отметим...

Очеркист буквально забрасывал вопросами, ручка его так и летала по блокноту.

— Ну и о себе лично что-нибудь. Матвей Иванович, как вам понравилась местность, люди? Тут, очевидно, немало девушек... — близорукие глаза журналиста лукаво сузились за стеклами очков.

— Говори, говори, — посоветовал Волнухин, поплеывая на щетку. — Я же помню, как ты старался тогда возле Ивановки. За такие глазки — можно...

— Выдумывай...

— Нет, серьезно. Это же не взгляд — нож обоюдоострый! А сердитая...

— Кто же она? Очень интересно,— воскликнул Алянский.— Ах, учительница. Разрешите, запишу фамилию.

— Сочиняет он. И вообще не надо об этом,— отмахнулся Матвей, сжимая порозовевшие скулы.

— А почему? Все естественно. Стрелы Амура весной особенно остры...

— Не надо,— повторил Матвей.

— Ну, хорошо. Не надо — так не надо. Ваше слово закон,— согласился очеркист и стал снимать с плеча фотоаппарат. В это время из коридора донесся по-украински певучий с сердитыми нотками голос хозяйки:

— Мыкола, десь ты? Мыко-о-ла!.

Богаенко бросил сигарку в печку, поспешно поднялся. Большой, налитый силой, он прямо-таки панически боялся своей щуплой, как пичуга, но на редкость крикливой и властной жинки, которая командовала им, как придиричивый старшина солдатом.

— Щоб ты сказывся, не отзывается. Мыкола!

— Я, хлопцы, на минуту,— смущенно пробормотал Богаенко.— Цикну, чтобы не шумела, и вернусь.

Как и следовало ожидать, он не вернулся и уж, конечно, не цикнул на жену. Через несколько минут распрощался и очеркист, сославшись на необходимость кого-то еще «поймать». Рыжик, выполнявший роль завхоза, сдвинул со стола инструменты и поставил перед Матвеем ужин: початую банку мясного гуляша, хлеб, миску со сметаной.

— Откуда это?

— Достал,— Гошка неопределенно махнул рыжей головой.

— Гонорар за жестяную работу,— пояснил Волнухин.— Ведерко той толстушке, что вчера тут крутилась, он все же залатал, правда, во дворе.— А с тебя магарыч,— повернулся он к Матвею,— за будущую славу. Будешь автографы раздавать — нам с Гошкой первым.

— Рассчитывай. Весь вечер сапоги драишь, куда собрался? — с набитым ртом невнятно спросил Матвей.

Волнухин с непотухающей усмешкой на тонких гу-

бах старательно закрыл баночку с гуталином, толкнул ее вместе со щеткой под матрац и несколькими взмахами руки взбил свой жиденький белесый чуб. Расческой он не пользовался специально, чтобы волосы казались кудрявыми.

— Иду на зов сердца. В местном очаге культуры сегодня бал. Соберутся невесты. Присмотрюсь. Может быть, составишь компанию?

Матвей молча заканчивал ужин, не зная, что ответить. Потом вдруг решил:

— Пошли. Воздухом подышать. Жарко тут до невозможности.

Бревенчатый, переделанный из старой деревенской церкви клуб в Ключах открывался только по вечерам для танцев или когда приезжала кинопередвижка. В промозгом, скупо освещенном единственной электрической лампочкой зале под вздохи баяна кружились пары: девчата в пальто и платках, парни, кто в ватнике, кто в шуршащем прорезиненном плаще. Пахло дешевым одеколоном и табачным дымом.

Волнухин оказался своим человеком в клубе. Едва успев войти, он галантно раскланялся с одной девицей, вторую — пышнотелую, в цветной косынке, подхватил танцевать. Матвей остался один. Закурил, навалился плечом на холодную чугунную печку и, волнуясь, начал всматриваться в зал. Пожалуй, приятель был прав — сероглазую сердитую учительницу Матвей не забыл, с какой-то особой бережливостью хранил он в кармане гимнастерки ее шелковый платок.

Но вот баян смолк. Круг танцующих распался. Маленькая девушка в бордовом пальто подбежала к Матвею и запросто, как знакомому, протянула руку:

— Здравствуйте. Не узнаете? Почему не танцуете? Прячетесь в темноте. Вы кого-нибудь ждете?

— Жду, — сказал Матвей с какой-то смутной надеждой. — Вашу подругу.

— Татьяну Николаевну? Вряд ли дождетесь. Я сама выглядываю ее весь вечер. Уговаривались встретиться здесь, но она меня подвела. Вы хотите отдать ей платок? Можете сделать это через меня.

— Если дадите расписку.

— Ой, какой официальный. От холода тут и пальцы не согнешь. Вы, конечно, разочарованы нашим клубом? Не уютно? Начальство дрова экономит. Но летом здесь лучше. Вы танцуете? Идемте, покружимся,— Верочка тронула его за руку.

У Матвея вдруг пропало всякое желание оставаться в клубе. Он отказался, сославшись шутливо на слабую голову и дела.

— Уходите,— девушка обиженно поджала подкрашенные губки.— Какие ненадежные кавалеры. Я же тут совсем одна. Можно, я пойду с вами?

— Только найдите палку, ночью у нас страшно много собак.

У двери Волнухин ободряюще подтолкнул приятеля в бок: «Желаю успеха». Матвей отмахнулся. Ему не хотелось провожать эту болтливую маленькую учительницу. Он нарочно приотстал в дверях, делая вид, как будто хочет раскурить потухшую папиросу, а сам ждал: не уйдет ли она одна. Но Верочка не ушла, обрадовалась, когда он ее догнал.

— Ой, а я думала вы меня бросили.

— Пошли,— сказал Матвей тоном команды и зашагал широким солдатским шагом, совершенно не рассчитанным для прогулок. Спутница его через несколько минут прямо-таки взмолилась:

— Не могу! Это же кросс, а не ходьба. Куда вы бежите?

— Я же говорил: дела,— несколько мягче ответил Матвей. Ему стало жалко девушку и неудобно за свою бесцеремонность.— Куда вас отвести?

— О, вы думаете, я совсем беспомощная. Думаете, не найду дорогу домой! — рассердилась Верочка.— Не беспокойтесь. Если уж вам так некогда — можете меня не провожать. Доберусь как-нибудь сама.— Шагнув храбро в сторону, она остановилась, произнесла упавшим голосом: — Вы бросаете меня в самом страшном месте. Тут целое болото.

Огромная лужа простиралась во всю ширину улицы, зловеще поблескивала в темноте.

— Держитесь.— Матвей подхватил девушку на ру-

ки и, была не была, шагнул в воду. Верочка сначала запротестовала, попыталась вырваться, но, встретив железную неподатливость чужих рук, притихла и только со страхом поглядывала вниз. В одном месте Матвей оступись, угодив в яму. Верочка испуганно прижалась к нему, обвила руками шею. Щека ее на мгновение коснулась его твердого подбородка. Кое-как добравшись до забора, Матвей опустил свою ношу на сухую землю.

— Вот, пожалуйста. Доставил в полной сохранности. В следующий раз выбирайте дорогу не по болоту,— проговорил он, чувствуя неловкость от этого случайного объятия и усталость в руках и спине, девушка оказалась довольно тяжелой. Верочка стояла, поправляя шляпку. Глаза ее взволнованно блестели.

— Вы сильный. Наверное, хорошо быть под вашей защитой. Правда? Расскажите что-нибудь про себя, почему вы такой замкнутый?

За забором загремела цепью собака, женский голос кого-то окликнул. Матвей воспользовался этим, чтобы распрощаться с девушкой.

— Это не вас? Идите, а то попадет от старших. А биографию я представлю в следующий раз в письменном виде.

За углом он остановился, балансируя на одной ноге, вылил из сапога воду и пошел дальше. Было уже поздно. В тишине еле уловимо позванивали ручейки. Хрустел под ногами ледок. Пахло дымком и той особенной холодной свежестью, которую источает земля, освободившаяся от снега. Матвей медленно брел по пустынным ночным улицам. Домой его не тянуло и в клуб не хотелось возвращаться. Село спало. Только в одном из домов светится окошко. За тюлевой шторой мелькнула знакомая фигура. Она! Та, которую он искал весь вечер...

Девушка расчесывала перед зеркалом волосы, закинув обнаженные руки за голову. Свет от лампы, падая сзади, затенял ее лицо, но волна пушистых волос и каждое движение рук были видны отчетливо. Плавный взмах руки — и густая прядь упала на одно плечо,

еще — и такая же прядь легла на другое. Казалось, девушке приятно играть своими волосами. Она собирала их в жгут и снова распускала, взбивала расческой.

Матвей замер возле низенькой оградки палисадника. И понимал — нехорошо : одглядывать, и не мог ничего с собой поделывать. Сердце билось глухими толчками. Вот бы перемахнуть оградку, постучать в окно... Но девушка отошла от зеркала, дохнула на лампу, и в темных стеклах как в омуте заколыхались отражались звезды.

VI

Урок подходил к концу. Тишина в классе нарушалась лишь поскрипыванием перьев да шелестом переворачиваемых страниц. Десятки русых, светлых, темноволосых головенок склонились над тетрадками. За окнами в сплетении голых ветвей карагача голубело небо. Солнце пронизывало воздух дымчатыми косыми столбами, на полу, на партах горели золотые пятна.

Таня обошла класс, вернулась к столу, довольная прилежанием учеников. В этот момент все они без исключения нравились ей. Что из того, если кое-кто и доводил ее когда-то до слез. Все это забыто. Сидят сорок минут, и ни один не отвлекся. Умницы.

Снаружи на переплет рамы вспорхнул воробей, беслокойно задвигался, застучал крылышками о стекло. В желтом клюве у него торчала соломинка, глазбусинки живо поблескивали. «Несет устраивать гнездо», — подумала Таня и осторожно, чтобы не привлечь внимания учеников, взмахнула классным журналом, прогоняя. Но воробья уже заметили. Сидевший на первой парте Ленья Чупров, сынишка Большого Петра, чуть приподнял белую вихрастую головенку и прищурясь стрельнул взглядом в окно. Лицо мальчугана моментально преобразилось, серьезности и сосредоточенности как не бывало. Локтем тихонько подтолкнул он соседа по парте. Тот тоже повернулся к окну, на его курносом, заляпанном веснушками личике отразилось

удивление и любопытство. Но и тот и другой постарались не выдать своих чувств, продолжали старательно писать. Однако уже какая-то искорка пробежала по всему классу: кто-то зашептался, кто-то брякнул крышкой парты. Воробей улетел.

Таня глянула на часы. До звонка оставалось две минуты.

— Слушайте меня внимательно. Кто не успел выполнить задание, делает дома. А сейчас оставьте сумки в классе, пойдем на свой участок.

Школа в Ключах — семилетняя. Здание старое, тесное, но сад большой, хотя и сильно запущенный. В эту весну учителя сами с помощью учеников вырубили засохшие деревья, расчистили кустарник и освободили место для пришкольного участка. Здесь в затишь было тепло. Припекало солнце. Ребятишки сбрасывали верхнюю одежку, с азартом сгребали в кучу мусор и сухие ветки. Таня с девочками колышками размечала грядки. Но дружно начатую работу прервал грохот, нараставший с каждой минутой. Ребята первыми определили, в чем дело.

— Тракторная бригада в поле двинулась. Айда смотреть! — и сыпанули к забору, побросали лопаты, грабли. Возле учительницы остались одни девочки, да и те колебались, с трудом подчиняя любопытство дисциплине. Поистине это был день соблазнов. Тане не оставалось ничего другого, как последовать за «мужской» половиной класса.

Грохот между тем все усиливался, словно надвигалась лавина. Наконец на площади перед школой показался трактор, один, второй... Вереница машин растянулась по дороге. Это был целый поезд из плугов, сеялок, тележек, груженных бочками и боровами. Где-то посредине торжественно плыл зеленый вагончик, покачиваясь и поблескивая на солнце квадратными окошками. К басовитому рокоту моторов примешивалось разноголосое постукивание прицепов, визг плохо смазанных колесиков плуга, перезвон стальных дисков на сеялках, громыхание бочек. Разнообразные звуки сливались в одну могучую симфонию металла, которая до краев заполняла площадь, далеко разноси-

лась по улицам села. За тракторами добровольным эскортом бежали ребяташки, цепляясь за что попало, рискуя угодить под колеса. Нескольким счастливым удалось взобраться на тележку, и они торжествуя кричали и размахивали руками, на зависть остальным. Рыжий парень в телогрейке нараспашку держал их возле себя, оберегая, как наседка цыплят.

— Это Свиридов, я его знаю. Он нам будильник исправил! — объяснил Леня Чупров, гордый своей осведомленностью, и восхищенно воскликнул: — Эх, покатали как! Вот это здорово! Никогда так не выезжали разом!

Техника покорила ребят. Завороженными глазами провожали они каждую машину и сами, как вода, просачивались сквозь заборы на улицы. Чупров оказался там раньше всех, перемахнул канаву и вдруг во все лопатки пустился к дороге. Минута — и его вельветовая кепочка замелькала возле трактора.

Таня смотрела вслед, закусив губу. Кричать в таком грохоте, чтобы вернулся, — бесполезно. Помощь явилась неожиданно. Тракторист спрыгнул на землю, выхватил мальчика буквально из-под гусениц и, взяв в охапку, понес к саду.

Таня узнала Борзова. В замешательстве сунула испачканные землей руки в карманы жакета. Однако тут же овладела собой, и когда он подошел, лицо ее выражало лишь суровое педагогическое недовольство.

— Принимайте героя. Отчаянный малый, — сказал Матвей и легко перекинул мальчугана через забор.

— Ребята, сейчас же возвращайтесь на место, будем продолжать работу. А с Чупровым я потом поговорю отдельно. — Таня подождала, пока ученики не очень охотно отошли от ограды, и сдержанно кивнула Борзову. — Спасибо. Этот шалун мог вполне угодить под машину. И я бы не успела помешать.

— Не наказывайте его, — попросил Матвей. — Парень смелый. Хороший будет солдат.

— Нет, за этот проступок он обязательно должен понести наказание. Вель и солдату нужна не только храбрость, но и дисциплинированность. Правда?

— Конечно. Но смелость такое качество...— начал Матвей и умолк, встретившись взглядом с учительницей. С минуту они стояли, разделенные низенькой дощатой оградой. Она — с руками, сунутыми в карманы жакета, он — поправляя ремень и одергивая с излишней старательностью гимнастерку. Это была его выходящая, офицерского сукна гимнастерка. Сегодня утром Матвей впервые достал ее из чемодана и битых два часа разглаживал взятым у хозяйки стареньким утюгом — надеялся хоть в последний момент перед выездом в поле встретить учительницу. И маршрут он нарочно выбрал мимо школы, хотя проще было проехать другой улицей. Пока шел с мальчишкой на руках, твердо решил — поговорю! Но этот строгий взгляд серых глаз точно обезоружил его, приготовленные слова вылетели из головы. От затянувшейся неловкой паузы у Матвея во рту стало сухо.

— Так, значит, здесь школа?

— Да,— кивнула Таня,— школа.

— Сооружение не из просторных.

— Школа построена тридцать лет назад в расчете на четыре класса. А сейчас более трехсот учащихся. Тесно.

— Достается, наверное, с ними? — Матвей кивнул на ребятшек.— Беспокойный народ.

— Нет, они только сейчас,— возразила Таня и тоже оглянулась на учеников.— Тут это необычное движение. А вообще — хорошие. Трудно вначале, как только сядут за парты. А у меня — второй класс. Взрослые, я считаю...

— Шумят уж очень. Помню в школе, учитель чуть задержится, или свет погаснет — рады, на головах ходили. А на переменах какой гвалт! Сейчас, пожалуй, не выдержал бы...

— А разве от тракторов шуму меньше?

— Первое время трудно без привычки. Спать ляжешь — в голове грохот. Потом уж не замечаешь. Да и на воздухе звук рассеивается, не то что в помещении. Разговор начинал было налаживаться, но учительница опять, на этот раз уже обеспокоенно, оглянулась.

— Простите, я должна идти. До свидания. Подала бы руку, но она у меня грязная.

— Погодите,— удержал ее Матвей. Он испугался, сейчас она уйдет и он так и не успеет ничего сказать.— Почему вы не пришли вчера в клуб? Я вас ждал...

— А разве я обещала?

— Нет, но вообще... Просто хотелось увидеть... Вот, уезжаем...

Проклятая робость, язык как приклеенный. Матвей, словно ища поддержки, оглянулся на машины. Колонна почти уже миновала школу. Торчать дальше у забора становилось уже просто неловко.

— Уезжаем...— повторил Матвей.

— Но ведь это не насовсем?

— По крайней мере побывать в клубе вряд ли скоро придется. Говорят, механизатор весной — царь и бог. Надо оправдывать звание...

— Желаю успехов.

— Спасибо. Это от души?

— Конечно. Как-никак, я — патриот Ключей и заинтересована в их процветании,— улыбнулась Таня.

Странное дело, распрощались и все не расходятся. Медлят оба.

— Значит, друзья?

— Пожалуйста.

— А если я,— Матвей весь напрягся от внезапной решимости,— если я,— глянул прямо ей в зрачки, где светились живые искорки,— предложу вам большее, чем просто дружба? Может быть, все это делается не так... стремительно. Но сами видите, нет времени...

Сказал и замер — будь что будет! Хотелось зажмуриться, как в ожидании удара. Но девушка молчала. И тут он понял, что поставил перед ней слишком трудный вопрос, на который не в праве сразу требовать ответа. Матвей выпрямился с видом человека, сделавшего самый трудный шаг, и осторожно тронул руку учительницы где-то на изгибе локтя.

— Вот теперь до свидания. Остальное договорим при следующей встрече.

Колонну Матвей нагнал за селом. Леонид Волнухи приостановил трактор, чтобы дать ему возможность вобраться в кабину, сквозь грохот прокричал на ухо:

Ну, что я толковал вчера газетчику? Зацапала тебя в плеч учителка. И ведь предлог нашел — мальчишку понес!

— Давай трогай! — отмахнулся Матвей, устраиваясь на жестком сиденье. Ликующее чувство распирало ему грудь. В душной, накаленной солнцем кабине усидеть было трудно, и вскоре Матвей вылез. Шагал по обочине дороги, сняв фуражку, с удовольствием подставляя лицо солнцу и теплому ветру. Майское бездонно-синее небо радовало своей чистотой. Кувыркались в вышине жаворонки. Хлюпала под ногами вода, скрытая кошмой прошлогоднего ковыля. Дорога обогнула березовый колок, и оттуда, как из погреба, повсяло холодом. Деревья стояли по колена в серых осевших сугробах. Расчесывая бурые космы морковника, из леса через дорогу стремительно катился хрустально-прозрачный поток.

Матвей пошел вброд. Ручей оказался глубоким. Вода хлынула за голенища, он рассмеялся, выдернул из воды ногу и зашагал дальше. Попадись ему на пути река, он не задумываясь вошел бы в реку.

Могучий рокот машин ломал тишину, отдавался вокруг гулким эхом. Кружил над дорогой потревоженный ястреб. В одном месте из зарослей таволги метнулась лиса. Отбежав метров на пятьдесят, остановилась, вытянув мордочку, с любопытством разглядывая людей и вереницу машин.

— Эге-гей! — закричал Матвей. — Держи ее!

Неизвестно как очутившийся рядом с ним Жалел Карымсаков, черный, как грач, быстроглазый паренек-казах вложил пальцы в рот и пронзительно свистнул. Кто-то еще засвистел и заулюлюкал. Гошка Свиридов спрыгнул с тележки и побежал, размахивая палкой. Лиса пустилась наутек, но не очень быстро. И долго мелькал в траве огненно-рыжий клубок, похожий на

пламя, гонимое ветром. Колонна остановилась. Все столпились вокруг бригадира, закуривали, подшучивали над Гошкой, который в азарте погони зацепил ногой за вход сурчиной норы и растянулся во весь рост. Последним подошел Микола Богаенко в заношенной солдатской шапке, в полушубке с раздутыми карманами. Крикливая жинка, собирая его в путь, заставила взять шарф, теплые рукавицы и подпоясаться на ямщицкий манер матерчатой опояской. И он, не решаясь перечить, только за околицей стащил с себя и рассовал по карманам все это снаряжение. Но и в полушубке нараспашку ему было жарко, в корявинках на лбу и на щеках блестел пот, белесые волосы торчали из-под шапки влажными прядками. Узнав, в чем дело, Богаенко махнул рукой.

— А я думал — стражлось что. Эка невидаль — ли-са. Да они у нас тут на каждом шагу, особенно в тот момент, когда при тебе кроме пальца ничего нет. В здешних местах и покрупнее зверь водится — лось. Довелось мне однажды встретить эту животину. Красавец! Стоит, значит, сено из зарода дергает. Было это в ноябре, снежок только что выпал. А мы на газике втроем: директор МТС, я и шофер. Малопулька с нами, но запрятана далеко под сиденье. Свернули мы с дороги, директор шофера в спину: гони! А мне велит винтовку достать. Сам он не стрелял из-за зрения, очки носил, но болельщик в охотничьем деле был заядлый. Тяну я ружье, тороплюсь. Лось, понятно, не стал дожидаться, пока я изготавлюсь, дернул напоследок сенца — и ходу. Мы за ним. Чешет, одно заглядение: рога положил на спину, из-под копыт снег во все стороны. Залюбовались мы, да и ахнули с размаху в борозду. От удара мотор заглох, а нас так тряхануло, слова не можем вымолвить.

— Пальнул? — нетерпеливо спросил Гошка Свиридов.

— Пальнешь, когда всю рожу себе искровянил. Да и рисковое дело стрелять — за лося штраф семь тысяч карбованцев. Вот и кумекай.— Микола сузил в улыбке и без того маленькие, заплавленные глазки, вопросительно обвел ими столпившихся вокруг ре-

бят.— А ну, хлопцы, признавайтесь, у кого курева богато. В такую погоду только и подымить на свежем воздухе за чужой счет. Теплыны!

На озере Аксуат бригаду поджидал управляющий отделением. Неподалеку от берега стоял ходок и пасся, гремя удилами, серый в яблоках жеребец. Кудашкин сидел на оглобле и перочинным ножом выстригивал из корневища таволги кнутовище. Тут же, прислонясь спиной к плетенному коробку, стояла учетчица бригады Дашка Лебедева. В бригаду ее назначили два дня назад, вместо заболевшего желтухой Филиппа Кащюры — переселенца из Белоруссии. Вечером новая учетчица разыскала Матвея и подчеркнуто фамильярно представилась: Дашка. Заметив замешательство Матвея, пояснила:

— Меня все село зовет так с самого рождения.

У Дашки светлые льдистые глаза с прищуром и по-детски припухшие губы, на которых играет, не потухая, усмешка. Полная, с подвитыми льняного цвета волосами, одетая по моде, она была не похожа на остальных деревенских девчат. Даже в поле Дашка надела хорошее пальто и новые резиновые ботинки с застегжками у щиколотки. При виде бригадира она чуть потупилась, сказала, покусывая травинку:

— Вы не искали меня, Матвей Иванович? Не могу я в таком грохоте ехать, голова раскалывается. Вот и напросилась к Василию Кузьмичу в попутчики.

«Смотри ты, какая нежность», — усмехнулся про себя Матвей. Ему откровенно не нравилась эта девица. Но сейчас он просто не мог сердиться. Только чуть свел брови, отвернулся. Присел рядом с Кудашкиным.

— Здесь остановимся?

— На твое окончательное усмотрение, — ответил управляющий, стряхивая стружки с колен. — Вот оно озеро Аксуат. По-казахски значит: белый водопой. Соленая вода. На водичку глазеть можно, а в рот не возьмешь.

Светло-бурые камыши уходили до горизонта. Широкое полукружье воды у берега морщилось волнами, но дальше еще зеленел ноздреватый лед. По белой,

будто взятой изморозью песчаной каемке вдоль воды расхаживали тонконогие кулички. С пронзительным криком кружились в воздухе степные чайки — мартыны. Солоноватый ветерок и запах водорослей создавали впечатление близости моря.

— Здесь так здесь, — сказал Матвей и поднялся. — Скомандую ребятам, чтобы устраивались, а сами делаем рекогносцировку на завтра.

Спустя полчаса все трое шагали вдоль едва различимой межевой борозды, оставляя позади урчание тракторов и голоса людей, разбивавших бивак. Под ногами приятно пружинили щетки ковыля, хлестал по голенищам сапог упругий острец. Травянисто-серый простор казался безбрежным.

Матвей все прибавлял и прибавлял шаг, точно торопился разом обойти степь. Подобное ощущение беспредельности испытал он однажды на дальнем Востоке, увидев впервые океан, открывшийся вдруг за поворотом горной дороги.

Кудашкин то и дело с сожалением поглядывал на свои хромовые сапоги, поцарапанные о траву. Дашка, приотстав, собирала подснежники и совершенно не слушала объяснений управляющего. На обратном пути на опушке леса остановились, закурили. Присесть было негде. Кудашкин, подпрыгнув, ухватился руками за ствол молодой березки и стал гнуть ее к земле, напрягая мускулы, багровея от натуги. Деревце, как живое, сопротивлялось, билось вершиной о землю, не желая гибнуть. Наконец оно хрустнуло, снежно-белый ствол переломился на метр от земли. Но отделить березку от пня никак не удавалось. Кудашкин даже вспотел, перелачкался в липкой белой пылице. Наконец устроил березку между двумя соседними деревьями, сделал нечто вроде скамейки.

— Ну, вот, порядок, — удовлетворенно сказал он, пробуя крепость сиденья. — Давай пристраивайся рядом, потеснюсь.

Матвею было жалко березку.

— Зря загубил...

— А тебе хочется штаны вымочить? — отозвался Кудашкин. — Тут этого добра много. Невелика цен-

ность. Закурим? У меня «Беломор», держи,— он не спеша, чуть подрагивающими, влажными от березового сока пальцами надорвал пачку. Метнул на Матвея внимательным взглядом.

— Видишь,— сокрушенно пощупал размокший носок сапога,— уже готов. Еще неделька — и тащи в ремонт. Полсотенная плачет горькими. А сапог по вещевому довольствию в совхозе не положено...

— А ты надевай кирзовые, когда на пашню едешь,— посоветовал Матвей, забыв, что сам в парадной одежде. Мысли его заняты были завтрашним днем, предстоящей работой, от которой он отвык за три года армии.

Кудашкин подавил второй сапог, снова повздыхал, и, прилусниваясь к голосу учетчицы, напевавшему в глубине леска, усмехнулся:

— Страдает девка, внимания мужского просит. Займись для разнообразия. Гарантия в успехе на девяносто девять процентов.

Матвей выдержал пытливый прицел его желтых холодных глаз с торчмя, как-то по-кошачьи, поставленными зрачками.

— А ты что, пробовал?

— Мое дело швах, связан, так сказать, по рукам и ногам...

— Женат?

— Хуже. Соломенный вдовец. Ты разве не знаешь мою историю? Не слышал? Значит, уши у тебя ватой заткнуты. По поводу моих семейных неудач третий месяц прения идут по всему селу, как на общем собрании. Хотя морально я чувствую себя выше всяких сплетен.

— В чем же дело?

— В женщине. У любой из них натура кукушки: сегодня в одном гнезде переночевала, завтра — в другом. Порхает, хотя и без крыльев. И ведь человек образованный...— Кудашкин развел руками в полном недоумении.

— А кто она у тебя?

— Учительница. Есть тут такая горожанка, Волошина. Татьяна Николаевна. Я говорил ей: «Тебе не

нравится деревенский образ жизни, не хочется вставать рано утром доить коров, возиться с поросенком? Хорошо. Загоним все это к чертям, чтобы не ставить семейную жизнь в зависимость от личного хозяйства. Проживем на зарплату...»

Матвей не слышал больше, о чем говорил Кудашкин. Так вот почему она была так сдержанна с ним! «Жена...» Как оглушенный, Матвей постоял молча несколько минут. Потом медленно повернулся и зашагал прочь, сунув в карман руку вместе с папирсой.

VIII

В бригаде готовились ужинать, когда Матвей, проколесив до глубоких сумерек по степи, вернулся на стан. Повариха Катя Селезнева, в белом переднике и марлевой косынке, плача от дыма, хлопотала над врытым в землю котлом. Гошка Свиридов помогал ей, стоя на коленях, подсовывая в огонь хворост. Вокруг костра собрались почти все. Волнухин, нахохлившись, по-птичьи подвернув голову набок, пиликал на баяне. Заядлые шахматисты Жалел Карымсаков и москвич — прицелщик Федя Останин разыгрывали партию, положив картонную шахматную доску прямо на землю. Постоянный болельщик Кузьма Демин — толстошекий, с юношескими, отпущенными форса ради белесыми усиками, похожими на зубную щетку, жевал всухомятку хлеб. Человек пять из местных жителей образовали отдельный кружок, копались в торбах, доставая взятую из дому провизию. Пламя костра металось, жадно лизало закопченные бока чугунного котла, искры золотыми роями взлетали вверх и долго не гасли в вышине. Дрожащий багровый отблеск падал то на угол вагончика, то на тележку с бочками, лица людей то видны были отчетливо, то погружались в тень.

Матвею этот одинокий костер в степи напоминал детство, деревню, поездки в ночное.

— А мы тебя потеряли,— сказал Микола Богаенко, придвигая бригадиру чурбак.— Василий Кузьмич давно укатил. Разминулись вы с ним, что ли?

— Привыкаю ориентироваться без проводника. Как устроились на новом месте?

— Да вроде бы осели. Ждем вот кашу. А раз каша есть, значит все в порядке,— маленькие глазки Микола спрятались в улыбке.

— Демин,— окликнул тракториста Матвей,— почему у тебя машина на отшибе? Иди поставь в ряд. Технику проверить всем, чтобы утром не было задержки. Воду спустить. Проверю.

Парень нехотя поднялся, дожевывая на ходу краюху. отошли от костра еще человека три. Место болельщика возле шахматистов занял Гошка Свиридов.

— Все, братцы,— поэзия кончилась, начинается, как говорится, скучная проза жизни.

— Ни разу з-емлю не ковырнул, а уже з-заскучил,— отозвался, заикаясь, Федя Останин.

— Я давно говорил — Леонид Волнухин человек практичный. На все смотрит с одной единственной стороны: выгодно или не выгодно. И если не выгодно...— Гошка Свиридов, не закончив фразы, в восторге вздохнул свою рыжую прическу.— Феденька, тебе мат! Запомни пожалуйста — можно делать что-нибудь одно: или вести партию в шахматы или слушать унылые вздохи Леонида Волнухина.

— Дети,— снисходительно повел плечом Леонид.— «Рыба ищет где глубже, человек — где лучше». Доходила до вас когда-нибудь подобная народная мудрость?

— Это не м-мудрость, а рыба идеялогия.

— Ничего удивительного, он же старый рыбак. На такси. Как это там? Деньги ваши — стали наши. Приехали. И спининга не требуется.— Рыжик сделал движение руками, изображая махинацию с деньгами.

— Такси — это романтика, если хотите знать,— спокойно отозвался Волнухин.— Опасно правда, сидит у тебя за спиной тип, и черт знает, что у него на уме. Хватит сзади по чемоданчику, и вякнуть не успеешь. Но зато и карман не пуст. Тюх на наш век больше чем достаточно. Заломись с такого, как душе заблагорассудится. Покряхтит, пожметя, а лезет в карман...

— Ч-чем хвастает, ч-чудак! Обдирал пассажи-
ров,— возмутился Останин.

— Не обдирал, извиняюсь, а получал с их собствен-
ного согласия,— возразил Волнухин и уже с явным
вызовом, поправляя кубанку: — Бумажки плыли в ру-
ки. Жизнь! Помню, попалась мне однажды парочка.
Люди не первой свежести, дядя с брюшком, солидный,
дамочка тоже соответствующей комплекции. В руках
разные сумки, свертки. «Отвези, говорят, товарищ шо-
фер, нас подальше куда-нибудь: чтобы зелень была
и воздух почище». А в Караганде с этим делом тугова-
то: город угля. Значит, маршрут дальний. Сели они в
машину. Смотрю — знакомые. Он — директор одной
крупной базы, она — оттуда же, не то бухгалтер, не то
личный секретарь. Словом, особы, не скрепленные уза-
ми брака. Ромео и Джульетта. Намеками дал я им
понять, что, мол, все ясно и даже ввернул в разговоре
имя и отчество пассажира. На остановке достают они
закуски, коньячок три звездочки. Пожалуйста, мол,
товарищ водитель за компанию. Директор сует мне
стакан в руки и вместе с ним аккуратно свернутую со-
тенную бумажку. «Чтоб, говорит, все осталось между
нами: вы нас не знаете, а мы вас не видели. И
точка».

— Неужто сотенная? — недоверчиво переспросил,
внимательно слушающий прицепщик Степан Буденков.

— Как одна копейка.

— Взятка, стало быть?

— Самая н-настоящая. П-причем, связанная с вы-
могательством,— загорячился Федя Останин.— На тво-
ем м-месте, Волнухин, я бы не п-пускался в столь
с-сомнительные откровения. И вообще непонятно, как
можно ехать с-сюда с настроениями с-самого заядлого
калымщика? — Федя от возмущения даже поднялся на
ноги. Высокий, по-юношески узкоплечий, в очках, ко-
торые то и дело сползали на нос, с белесой петушиной
прядкой, торчавшей на затылке, москвич выглядел
весьма воинственно. Сочувствие большинства явно
было на его стороне, и Волнухин, оценив это, повернул
разговор.

— Ну уж завелся с полуоборота! Пошутил я, а ты

принял все за чистую монету. За мной, если хочешь знать, не было ни одного замечания по части денег. Калымщик сюда не поедет, делать ему тут нечего.

Повариха, волнуясь, объявила, что ужин готов.

— Полундра, товарищи! — Гошка сгреб в кучу шахматные фигуры. — Приготовиться к бою. Горнист, играй сигнал: «Бери ложку, бери бак, нету бака — беги так!» — пропел в сложенные рупором ладони. — Прощу запомнить: первая каша на целине!

Все оживились, загремели мисками, стали поудобнее устраиваться для ужина. Рыжик, ведавший в компании довольствием, притащил из вагончика чемодан, нарезал на газете хлеб, выложил ложки. Под конец, среди каких-то своих запасов отыскал соленый огурец, придвинул бригадиру:

— Твой пай.

Матвею есть не хотелось. Равнодушно придвинулся он к чемодану, вяло пожевал отдающий укропом залежалый огурец. Как странно зависит время от настроения. Ему казалось, что с момента разговора с учительницей возле дощатой оградки сада прошло не несколько часов, а целая вечность. Все перевернулось.

Повариху окружила толпа. Гошка Свиридов протиснулся вперед, балагурил, протягивая миску:

— Что может быть вкуснее пшенной каши на свежем воздухе, да еще приготовленной нашей дорогой хозяйкой, самой хорошей, самой доброй девушкой во всех Ключах. Сыпь, Катюша, не скупись!

С дымящейся алюминиевой чашкой в руках Рыжик присел неподалеку, вооружился ложкой и ломтем хлеба. И вдруг замер, округлив глаза:

— Товарищи!

Все разом повернулись. Склонясь над миской, Гошка делал вид, будто хочет что-то вытянуть оттуда.

— Екатерина Павловна, что это?

— А что? — испуганно вскинулась девушка.

— Вроде мясо и в то же время не мясо. Есть! Разгадал! Кусок уздечки! Чтобы убедиться, попробую на вкус. — И с притворной сосредоточенностью, дурашливо морщась, Рыжик принялся усердно двигать челюстями. Сотрясая ночную тишину, грохнул дружный хо-

хот. Даже учетчица Дашка, отчужденно стоявшая в сторонке, улыбочиво шурила льдистые глаза. Один Гошка оставался невозмутимым. С самым серьезным видом продолжал он работать челюстями, точно и в самом деле разжевывал что-то невероятно жесткое. И Катя не смеялась, стояла, в страхе прижав к груди руки с половником.

— Так и есть — уздечка! Наверное, Иса потерял. Но как она в котел попала? Вот вопрос.

— Ой, да ты же все выдумал. Как не стыдно! — возмутилась повариха, понявшая наконец что парень ее разыгрывает. От пережитого волнения на глазах девушки выступили слезы. — Разве можно так шутить? Это... Это нехорошо.

— Так я же, чтобы каша остыла! Горячая она до невозможности, — оправдывался Свиридов с аппетитом принимаясь жевать теперь уже по-настоящему.

В темноте зафыркал конь. Минуту спустя в свете костра показался всадник в брезентовом дождевике, с пустым правым рукавом — Егор Петрович Лукьянов. С ловкостью опытного конника соскочил он с седла, привязал повод за колесо водовозки и подошел к костру.

— Далеко забрались, не враз найдешь. Зато попал удачно: акkurat к раздаче. Здравствуйте, товарищи!

Дружная работа ложками приостановилась. Трактористы вразной, но с охотой ответили на приветствие.

— Я поближе к огоньку, покурю с дорожки. Лукьянов опустился на корточки, подобрал полы дождевика.

— Ужинать с нами, Егор Петрович.

— Можно, за компанию на свежем воздухе. Проверим, на что годна ваша стряпуха.

Катя поспешно наполнила тарелку доверху исходящей паром пшенной кашей. Егор Петрович ловко устроил посудину у себя на коленях, вооружился ложкой. Ел он не торопясь, сосредоточенно, будто и не замечая вовсе нетерпеливо выжидающего взгляда поварихи. Наконец, заскреб остатки каши, ладонью вытер усы.

— Каша не сказать, что генеральская, но солдатская это уж точно.— И уловив на лице девушки огорчение, пояснил.— Был у нас на войне повар, делил обеды на генеральские и солдатские. Так и объявлял: «Генеральский обед прибыл. Хватай котелки, ползи без промедления». Это значило: сумел доставить первое и второе. А если солдатский, — одну кашу.

— Не понравился вам ужин? — упавшим голосом спросила Катя.

— Так мы солдатский обед больше даже любили, потому что понатолкает в него повар всякой всячины: колбасы, консервов, масла. Не провернешь ложкой. Одну-то кашу легче доставить на передовую. В этом весь секрет. Держи-ка посуду, спасибо,— протянул Егор Петрович поварихе пустую тарелку. Откинув полу дождевика, достал папиросы.

— Вопрос, товарищ директор,— поднял руку с ложкой Демин и кивнул в ту сторону, где беспокойно позвякивал удилами привязанный к водовозке конь,— я не вижу у вас никакого колесного транспорта. Начальство — и без «Победы»?

— А зачем? На «Побед» сейчас не сезон: вода и грязь. А верхом проедешь где угодно. Да и нет пока «Победы».

— Совхоз, стало быть, бедный, машину не на что приобрести?

— Бедный, не бедный, а лишних денег нет. А ты что же,— Лукьянов прикурил от горящего прутика, внимательно посмотрел на парня,— жил целый месяц и не поинтересовался совхозом?

— Так он же почву зондирует,— вмешался Гошка Свиридов,— на предмет легковой машины.— Нельзя ли шофером пристроиться к директору? Амортизация на «С-80» его не устраивает — жестковато.

— А что собственно, государственное предприятие — только попросить...

— Попросить можно,— кивнул Егор Петрович сквозь завесу дыма,— но вот просителей очень много. Семян дай, комбикормов дай, легковую машину дай. А где же у государства этот бездонный карман, чтобы всех оделять? Чтобы брать из него, надо что-то туда

положить самому. Вот припадем земли, урожай поднимем, хлеба соберем разочка в два больше, чем теперь собирали, животноводство подтянем, тогда сядем в самую лучшую машину с легкой душой и чистой совестью. И не только директор будет разъезжать на «Волге», а и вам в бригаду выделим хороший колесный транспорт, как ты выразишься. Захотел жинку навестить в свободное время: за руль — и кати...

— Долго ждать придется.

— А почему? Сроки эти в наших руках. Мы должны и можем заставить землю работать на нас во всю ее могучую силу, «чтобы гужи трещали», как говорил когда-то Степан Луговой... Возможности есть...

— А кто это Степан Луговой, — спросили враз Гошка Свиридов и Демин. Егор Петрович помолчал. Бронзовое от отблесков пламени усталое лицо его стало задумчивым.

— Были здесь такие ребята комсомольцы, первые трактористы на всю округу: Степан Луговой и Ванюшка Смоляк. Мечтали преобразить степь. Только суровая судьба выпала на их долю.

Степан попал к нам в Озерное случайно — забрел в поисках заработка. В двадцатых годах батраков моталось по деревням много, давала себя знать разруха. Пристроился он сперва к одному кулачку на сезон в работники, от посевной до страды. Осенью отчего-то задержался, прожил зиму, да так и застрял в селе на радость парням и девчатам. Степана любили за веселый нрав, за общительность, а больше всего за то, что был он замечательным гармонистом. Гармонист на селе — первейшее лицо, особенно если весельчак и танцор.

Но не из-за одной гармошки тянулась к нему молодежь. В сундучке у Степана под праздничной одеждой хранились книги. Мы к нему летом, в ненастную погоду километров за десять собирались послушать чтение. Много сам он рассказывал из своей скитальческой житухи. Может быть, кое-что и выдумывал, но в общей сложности получалось интересно. А главное, своими рассказами он вызывал в нас интерес к новому, думать заставлял. И когда взялся потом Степан ком-

сомольскую ячейку в селе создавать, желающих записаться в комсомол набралось сразу человек пятнадцать. И секретарем единогласно избрали Лугового. Батрачил он в то время у Прокофия Смоляка. Был в Озерном такой местный Крез, одних березовых дровшвырка имел в запасе лет на двадцать. Под железной крышей крестовый дом, скота целый гурт, а работника держал одного, из хитрости, чтобы не сочли за кулака. У Прокофия, на положении второго работника жил внук, сын дочери — восемнадцатилетний Ванюша. Отец у него погиб на войне, а мать вместе с сыном гнули спину на скарёдного старика.

Ребята сдружились. Степан задался целью вырвать дружка из дедовского дома. Сначала Ванюшка слушал книги, затем стал ходить на собрания и наконец записался в ячейку. Сколько ни кричал и ни грозился старый Смоляк, требуя, чтобы внук выписался из комсомола, Ванюшка решения не изменил. Характер у парня оказался твердый. Тогда Прокофий, раскусив, откуда все идет, выгнал работника. Но вместе со Степаном ушел и Ванюшка. Друзья вместе батрачили на отрубях, потом уехали на курсы трактористов. В Озерное вернулись, когда началось раскулачивание. Раскулачили и Прокофия Смоляка. Но старик и здесь словчил: имущество частью распродал, частью рассовал по родственникам. Всего и осталось — дом да усадьба с дровами. Хлеба наскребли у него в амбарах пудов с полсотни, не больше. А все знали: хлеб должен быть. Не верил, что у деда пустые амбары, и Ванюшка стал выпрашивать у матери. Прокофий, чуя недоброе, решил действовать круто. Подпоив знакомого фельдшера, заручился справкой и отвез дочь в больницу для умалишенных, где та вскоре умерла. Но, видимо, мать успела-таки что-то сказать Ванюшке, хлеб у Прокофия нашли. Возили подводами недели полторы. Спрятан он был очень искусно — прямо на пашне вырыта яма, обшитая досками, а поверху озимые посеяли. Попробуй догадайся!

Прокофий от расстройств слег. А внуку решил отплатить при первой возможности. И отплатил...

— Почему же его, старого черта, не упрятали по-

дальше? — вырвалось возмущенно у Гошки Свиридова.

— Пожалели — старик, больно, смерть за плечами. А он внука не пожалел... Песня когда-то помнится, была про тракториста, которого кулаки заживо сожгли на полосе, облив керосином. Также и с Ванюшкой поступили сообщники Прокофия. Выждали момент, когда ночью сдавал машину сменщику Степану Луговому, набросились, скрутили обоим руки и ноги проволокой и живьем закопали в борозду. А трактор поставили сверху и подожгли. Пока сбежались люди — машина сгорела. Огонь перекинулся на траву, ветром погнало его в степь, едва потушили. Дважды потом срывало кулачье звезду с памятника на могиле комсомольцев, записки подбрасывали с угрозой расправиться так же со всеми, кто чужое добро тронет. Хотели враги людей запугать, отбить от колхоза. Да только напрасно, реку ладошкой не запрудишь. — Лукьянов умолк. Все молчали под впечатлением рассказа. Слышно было, как переступает конь и трещит пламя, пожирая хворост.

Тишину нарушил Микола Богаенко:

— Егор Петрович, а вы про то, как в вас возле мельницы кулаки стреляли, расскажите.

— Пальнули разок, да не так метко, как думали. Поторопились, видать, — скупое ответил Лукьянов и, выхватив из огня уголек, стал раскуривать давно погасшую папиросу.

IX

Матвея Борзова разбудил холод, голые плечи точно сжимало обручем. В окошко вагончика сочился сумеречный свет раннего утра. Что-то упруго билось и гудело за дощатой стенкой. Тонкие струйки студеного воздуха текли сквозь щели в полу. Трактористы спали, побросав на себя поверх одеял полушубки и ватники. Только место внизу, где ночевал директор совхоза, пустовало.

...Вечером за разговорами у костра просидели долго. После того, как все уже улеглись, Лукьянов по-

шел посмотреть коня. Пошел с ним и Матвей. Было в грузной фигуре директора совхоза, в его манере говорить, в неторопливых жестах что-то очень привлекательное. Чем-то отдаленно напоминал он Матвею отца.

Стреножив коня и оставив его пастись, Егор Петрович не сразу вернулся в вагончик. По молчаливому уговору обошли они стан. И этот обход в темноте многое дал Матвею. Лукьянов точно угадывал его молчаливые вопросы, давал наставления, причем делал это так, будто рассуждал вслух сам с собой, без всякого навязывания и начальственного тона. Сейчас Матвею стало даже немного жаль, что директор совхоза уехал.

Поборов в себе желание остаться в тепле, он выпростал из-под одеяла руку, поднес часы к глазам. Пять часов. Рывком вскочил с нар. Ветер рванул из рук фанерную дверь, обдал холодом. От той, полной покоя весенней тишины, что струилась над степью вечером, не осталось и следа. Мрачные, похожие на дым облака, неслись, цепляясь за землю. В угрюмой покорности клонились под ветром бурые гривы камышей на озере. Свинцового цвета вода вскипала пеной.

У Матвея упало настроение. Не таким представлялся ему первый день на пашне. Почему-то ждал, что погода будет обязательно солнечной, теплой, с жаворонками, с маревом над травянистой степью. Съежившись от холода, Матвей хмуро стоял в дверях вагончика. Неподалеку ветер трепал и расшвыривал по земле дым очага. Катя — повариха, закутавшись в шаль, чистила картошку. Красные от холода пальцы ее с трудом удерживали нож. Меднолицый плотный старик в огромном лисьем малахае, водовоз Иса, сидя на корточках, грел над огнем руки. Неподалеку звякали удилами кони, запряженные в дроги с бочками. Матвей, стиснув ладонями голые плечи, подошел к костру, поздоровался.

— Что, бригадир, — Иса повел на него заслезившимися от дыма узенькими глазами. — Плохо дела? Ступай назад вагончик, отдыхай. Такой погода только спать да чай кушать.

Катя посмотрела на посиневшие от холода смуглые руки бригадира.

— Простудитесь, Матвей Иванович.

— Сейчас нагреемся.— Разгоняя ковшом льдинки, Борзов зачерпнул из бочки воды, вылил себе на шею, так что жгучие струйки побежали под майку. Ледяной душ придал бодрости. Надо было будить остальных. Он с минуту помедлил, жалея ребят, и как заправский дневальный скомандовал:

— Подъем!

Команду пришлось повторить несколько раз, прежде чем она возымела действие. Ребята неохотно покидали нары. Только Даша сразу вышла из-за перегородки, где устроилась с поварихой, одетая, с тщательно уложенной прической, точно и не спала вовсе. Остальные медлили, одевались, мешая друг другу в тесном проходе.

— Щиплет, братцы.

— Погодка, как в Ташкенте, чуть даже жарче.

— Эх, и не тянет же меня что-то сегодня на свежий воздух,— вздохнул Демин.— Не зря солдаты говорят: «Перед отбоем готов на сверхсрочную службу остаться, а как подъем — сразу бы уехал домой».

— А ты был солдатом, Кузьма?

— Не был, от других слышал.

— Отец у него солдат, а он — сын солдатский. Да тебя и не возьмут в армию, Демин.

— Почему это?

— Усы надо сбрить сначала.

— Дурачье. Им всерьез, а они с глупостями.

— Как бы еще белые мухи не полетели,— сделал предположение Микола Богаенко, мучаясь с тесными сапогами.

— А кое-кто на погоду ноль внимания. Смотрите!

Замечание относилось к Волнухину и Гошке Свиридову, которые, несмотря на возню и разговоры, продолжали самым безмятежным образом похрапывать на верхних нарах.

— Ну-ка, друг, кончай ночевать,— Матвей потянул из-под Свиридова матрац. Наполовину съехав с полки, Гошка высунул наконец из-под одеяла взлохмачен-

ную рыжую голову и с неподдельным удивлением уставился на приятеля:

— Ты что?

— Подымайся.

— А разве уже утро? — Гошка обескураженно заморгал, и губы его расплылись в виноватой улыбке. — Понимаешь, слышу, кто-то толкает, а глаза открыть не могу...

Подшучивание над заспавшимся пареньком несколько развеяло общее уныние. Но выходить из вагончика не решались. Все столпились в дверях. Матвей решил действовать по-командирски:

— Всем раздеться! Выходи строиться на зарядку!

— Вот это верно, это полезная штука, — одобрил Микола Богаенко и первым в одной нижней рубашке и трусах выпрыгнул из вагончика. Но другие колебались.

— У меня же грипп, честное слово. Мне нельзя студиться, — упирался Демин.

— Давай, давай, вытряхивайся. Закаляться надо. Тут тебе не тещина горница, — подтолкнул его Гошка Свиридов.

Поеживаясь, трактористы по одному, не очень охотно, но все же покинули вагончик. На опустелых нарах остался один Волнухин. Укрытый поверх одеяла своим бобриковым полупальто, в неизменной кубанке, нахлобученной на голову, он лежал, не подавая признаков жизни. Но стоило Матвею коснуться его плеча, зло отмахнулся:

— Отстань!

— Пойдем. Слышал?

— Уйди, говорю, — Волнухин откинул одеяло, со сдержанным бешенством сбивчиво заговорил. — Придумал зарядку. На ураган в одной рубашке гонишь. Хочешь, чтобы простудились по твоей милости, да? Нашел дураков. Мы тебе не солдаты. В такую погоду, знаешь... Хороший хозяин собаку за дверь не выгонит...

— Хватит, не нуди. Ты чего взялся панику разводить? Другие вышли — и ничего, а ты испугался про-

студы? Может быть, прикажешь кофе горячего подать в постель, как графу Монте-Кристо?

— Подадут тут, по всему видно. Будешь вкалывать без выходных все лето, и спасибо не скажут.

— А ты мечтал пивной ларек тут тебе поставят? Подымайся и не валяй дурака,— недовольно сказал Матвей, чтобы положить конец разговору. Но Волнухин выпростал из-под одеяла помятое сном лицо, усмехнулся:

— Много на себя берешь. Тут тебе не казарма.— И всем своим видом показывая, что объяснения исчерпаны, повернулся на другой бок и хотел было снова натянуть на себя одеяло, но Матвей перехватил его руку. С минуту молча смотрел на приятеля, сдерживая закипающий гнев.

Ни разу до этого не задумывался он над своим отношением к Леониду Волнухину. Что их сдружило? Просто, еще когда жили в станционном клубе в ожидании транспорта, привык он к этому несколько разухабистому, скорому на знакомства парню из Караганды. И вот только сейчас, стоя возле нар, обнаружил, что совершенно его не знает. Перед ним лежал чужой, весь ошетилившийся от злости человек, готовый отбиваться руками и ногами, чтобы только не лишиться теплого места на матрасе. И Матвею стало как-то не по себе. Он медленно разжал руку, отошел от нар. И уже потом сказал спокойно и жестко:

— Ладно. Но учти, если ты сейчас же не поднимешься и не выйдешь из вагончика,— пеняй на себя. Ломать дисциплину я тебе не дам.

Дверь захлопнулась. Через минуту с улицы донеслась скокканная ветром команда: «Бегом марш!» Волнухин, взъерошенный, с остро поднятыми мальчишечьи узкими плечами, ругаясь сквозь зубы, торопливо засовывал босые ноги в нахолодавшие за ночь сапоги.

Завтракали в вагончике, перешучиваясь, похваливая не очень наваристый, зато горячий рисовый суп. Матвей неохотно двигал ложкой и все косил взглядом на окно в надежде, что вот-вот ветер пронесет тучи и прояснится. Но внезапно пошел снег. Все бросили еду и уже без всяких комментариев молча следили за

бураном. Снежинки, как живые, метались в воздухе, и, с виду мягкие и невесомые, хлестали в фанерную дверь точно песок. Не прошло и пяти минут, как степь побелела.

Снег неся с такой стремительностью, что кружилась голова. словно белые иглы косо пронизывали воздух.

Вдруг из белой мглы выступила знакомая фигура в дождевике с поднятым капюшоном: директор совхоза. В поводу Лукьянов вел облепленного снегом коня.

Матвей бурно обрадовался:

— Егор Петрович!

Лукьянов подошел, отогнул капюшон, звеневший, как жесть.

— Ну, крутит на прощанье. Последний привет старушки-зимы. — А я отмотал пешочком километров с десяток. «Спутник» мой совсем было подался до дому. Пути порвал.

Осторожно ладонью обтер усы, отодрал льдинки, спросил:

— Как настроение? Не подпортил буран? У нас такие зигзаги в погоде бывают. Но, как в пословице: ранний гость до обеда. Скоро пройдет. Угости-ка папиросской, бригадир.

Пока курили действительно буран притих. Завеса туч над степью раздвинулась. Стал виден краешек озера с белой от снега каемкой берега и темной взморщенной ветром водой.

По рукам трактористов пошла пачка «Севера», чиркали спичками, поглядывали на небо. Вездесущий Гошка Свиридов заметил:

— Вот что значит дисциплина: появился директор, и пурги как не бывало. Кругом порядок.

— А ты как думал? Единоначалие, — ответил Лукьянов, — природа понимает, что нам пахать надо. Ну, кто у вас первую борозду будет прокладывать? Договорились?

— А мы это мигом, — Богаенко взял из коробка несколько спичек, переломил их за исключением одной и, зажав в ладони головками вверх, протянул Гошке Свиридову.

— Тяни, как самый храбрый.

Тот замялся, со всех сторон оглядел большущий, серый от въевшегося машинного масла кулак Микола.

— Счастье никогда не изменяло мне,— театрально проговорил Рыжик, стараясь ухватить пальцами сразу две спички.— И на этот раз тоже. Любуйтесь! — Он торжественно показал целую спичку.

— Везет,— согласился Богаенко и с огорчением бросил остальные спички на землю.— Тебе, значит, начинать.

— Давай, Рыжик,— кивнул Демин, как всегда что-то дожевывая.— И только смотри, чтобы борозда получилась стрелой!

— Товарищи, внимание! — Гошка поднял руку,— Из уважения к старшим торжественно передаю право первой борозды заслуженному механизатору Озерного совхоза Богаенко Миколу Григорьевичу. Пожалуйста,— протянул он спичку.— Оркестр, туш!

— Как же это,— смущенно переспросил Богаенко.— Не по правилу, вроде.

— Иди, иди, старина,— с улыбкой подтолкнул его Матвей.

Едва трактор, сопровождаемый толпой, достиг вешки, воткнутой на месте загонки, в глубокой прогалине меж туч сверкнуло солнце. Лучик упал на ветровое стекло, секунду горел ослепительный, как вспышка электросварки, потом перескочил на подернутую коркой льда лужицу и высек из нее крошечную радугу. Снег продолжал мелькать в воздухе и таял, не достигая земли. Капли горели на траве разноцветным бирюром.

Первая борозда! Кого из хлеборобов она не волнует? Волновался и Микола Богаенко. Он против обыкновения торопливо включил рабочую скорость. Прицепщик Жалел Карымсаков стал на раме плуга, заработал маховиком углубления. Острые, с фиолетовым отливом, еще не отшлифованные землей лемеха сначала слегка чиркнули, срезая траву, а потом со слабым треском вошли в почву. На сторону, извиваясь, как живой, нехотя лег коричнево-черный блестящий

пласт. Один, второй... И вот уже потянулся по бурой траве свитый из шести лент, ровный, бесконечно длинный жгут, на который падали талые снежинки и исчезали бесследно. Трактор удалялся. А вслед за ним шла толпа, даже Катя-повариха не захотела отстать. Водовоз Иса в богатырских сапогах с байпаками, в малахае, присел на корточки к борозде, нагреб в горсть земли. Смотрел на продолговатый с отпечатками пальцев, весь пронизанный блеклыми нитями корневищ влажный комок. Гошка Свиридов и здесь не удержался от реплики:

— Что, аксакал, загрузил? Степь жалко?

— Жалко,— кивнул Иса, и бронзового цвета лицо его стало задумчивым. Очень жалко. Каждый кустик тут знаю. Парнишкой-баранчуком скот пас. Помнишь, Петрович, бая Куандыка, а? — Повернулся он к Лукьянову.

— Помню. А ты Дорогова, казачьего офицера, помнишь?

— Как не помнить? И камчу его помню: злой был, шайтан, драться любил. Я Куандыка барашек пас, ты Дорогову — барашек.

— Лошадей,— поправил Лукьянов,— конный завод держал Дорогов.

Егор Петрович присел рядом с Исой и тоже задумчиво помял землю в ладони. С минуту оба сидели, охваченные воспоминаниями. Потом Иса осторожно положил комок в борозду, поднялся:

— Зачем жалеть? Когда степь два человека в руках держали, жалко было. Сейчас не жалко. Сейчас — хорошо, хлеб будет,— и, переменяя тон, ворчливо добавил, глядя на Гошку.— Мы, старики, сидим. Чего на нас смотреть? Айда делом заниматься...

Спустя час в работу включились остальные тракторы.

Матвей с директором совхоза возвращались на стан. Совсем распогодилось. Ветер утих. Озеро сияло на солнце серебряной чешуей, как огромная рыба.

Шли вдоль пахоты. Над головой журчали жаворон-

ки. По узкой полосе пластов расхаживали грачи, носатые, степенные, как старушки в черных шалях.

Матвей расстегнул ватник, снял фуражку — жарко. С удовольствием втягивал в себя влажный пресноватый запах свежевзрытой земли. Для него не было сейчас лучшей музыки, чем это посвистывание жаворонка, к которому примешивалось басовитое гудение тракторов.

Лукьянов вел в поводу коня, звякавшего удилами, говорил:

— Солончак здесь сравнительно глубоко. Но будет хуже. Следить придется в оба. Вывернем солонец — вся наша работа насмарку. Тут нам, что называется, экзамен. Не все верят, что на Аксуате будет хлеб. А надо, чтобы поверили. Даже, если толщина черноземного слоя не больше десяти—пятнадцати сантиметров, и этого достаточно для получения урожая. Конечно, солонцовые почвы более чувствительны к влаге. Но ничего, внесем навоз, минеральные удобрения. Пахать лучше всего без оборота пласта.— Лукьянов приостановился, вскинул голову, отыскивая взглядом жаворонка.— Смотри ты, заливаается как! Певец первый сорт. И концерт бесплатно. К погоде. Ну, что пишут из родных мест, Борзов?

— Весна запаздывает тоже...

— Кто у тебя дома?

— Мать, сестренка.

— Зови их сюда. Квартиру дадим, невесту хорошую подыщем. Если уже сам не подыскал.— Директор совхоза, может, без всякого умысла помянул невесту, но Матвею показалось, что он что-то знает, и его хорошее настроение пропало.

— Не думал еще... Некогда.

— Решай. Дома сборные нам выделили — механизаторам в первую очередь. Кстати, как у вас отношения с управляющим?

«Знает,— подумал Матвей,— ну сейчас начнет мораль читать. Смуглые скулы его порозовели.

— Нормальные отношения. Детей нам не крестить...

— Это верно, детей крестить не надо. И в кумовья

нынче попасть трудно. А вот работать вам вместе, и хорошие отношения нужны.

Нет, судя по всему, Лукьянов не собирался читать мораль. Только взгляд его казался каким-то чересчур пристальным.

— Ну, хорошо,— переменял он разговор,— пахать вы начали. А дальше работа пойдет у тебя на два и даже на три фронта. Надо закрывать влагу. Я проезжал вчера, на седьмом поле можно боронить. Сам посмотри еще раз. На вот,— Егор Петрович протянул бригадиру повод.

— Что это? — не понял Матвей.

— Бери моего «Спутника». Добрый конек, хотя и с 'норовом. Сойдетесь характерами. Ездить верхом умеешь?

— Пробовал когда-то...

— Ну и держи. На своих-двоих тебе не успеть. Мотоциклом еще не обзавелся, да и у нас его нет. Так что придется пока пользоваться устарелой техникой.

Матвей лишь теперь уразумел, что директор отдает ему своего коня, и попытался возразить:

— А как же вы сами, Егор Петрович?

— Об этом не твоя забота. Директор совхоза найдет на чем ездить, а не найдет — грош ему цена в базарный день. Знакомьтесь. Конек выносливый, можешь не слезать с него целый день, но не терпит грубостей. Увидит в руках плетку — прощайся с ним навсегда,— сказал Лукьянов и стянул перекинутый через седло дождевик, давая этим понять, что разговор окончен.

— Скорее, аксакал, скорей! Пошевеливаться надо. Как будто драгоценность какую везешь, боишься лишний раз махнуть кнутом! — торопил Гошка Свиридов подъезжавшего водовоза. Он только что принял от Волнухина смену и стоял возле трактора с памятным ведром в руках. Водовоз Иса в неизменном малахае, в стеганом длиннополом пиджаке спокойно придерживал коней, слез с брички, на которой стояли две

большие, накрытые мокрой холстиной бочки и, как бы не замечая парня, крикнул:

— Эй, Гошка, ведра подставляй!

Невозмутимость старика поправилась Рыжику.

— Однако ты, папаша, с выдержкой. Кругом такой накал, а он не торопится. В век ракет и атомной энергии — на клячах...

— Зачем торопиться? — возразил Иса. — Кто быстро работает, тому воду быстро возим. Плохо работает — вода в последнюю очередь.

— Это в чей огород камушек?

— Сам знаешь. Доска видел сегодня?

Утром учетчица мелом вывела на фанерном щитке, прибитом возле вагончика, аккуратные цифры. Итог дня выглядел не очень внушительно. Норму вспахали всего трое: Микола Богаенко, Нуркан Амантаев да молчаливый застенчивый тракторист Христиан Шварц. Остальные едва дотянули до половины. Гошка, оставившись в толпе перед щитом, даже не сразу нашел свою фамилию: она была где-то в самом низу. Нелегко дался ему этот первый день на пашне. Непривычным оказалось все: и непрерывный грохот в течение почти десяти часов, и всевозможные помехи, и вынужденное одиночество. Он измучился, пока дождался конца смены... Плюс ко всему на последнем развороте наехал на какой-то пень и свернул лемех. На коротком собрании, которое бригадир устроил во время завтрака, Рыжику влетело больше всех. И сейчас ему вовсе не хотелось возвращаться к разговору об этом.

— Ладно, Иса, — примирительно сказал он, подставляя водовозу ведро. — Рекорды берутся не сразу. Даже космической ракете требуется разбег. Ну-ка, показывай, что за воду привез. Небось из Аксуата набрал, для сокращения расстояния?

Шутливая перебранка между трактористом и бригадным водовозом возникала при каждой встрече и неизменно кончалась миром. Свообразная, прикрытая незлобивой ворчливостью дружба установилась между этими столь непохожими друг на друга, разными по возрасту людьми — свердловским цареньком Гош-

кой Свиридовым и старым степным жителем Исой Байгужином.

— На отдых тебе пора, аксакал. На пенсию,— совсем уже миролюбиво посоветовал Гошка, дожидаясь пока водовоз достанет из-под сиденья черпак — ведро на деревянной рукоятке.— А ты еще в молодежную бригаду напросился. Хочешь, напишу заявление в рабочком насчет пенсии?

— Нельзя идти пенсию, Гошка. Никак нельзя,— в тон ему отвечал Иса.— Старый уйдут отдыхать, все дело станет. Ты молодой. а какой толк? Норма не даешь. Учить надо молодых. Понял? Потом еще есть причина,— Иса лукаво прищурился, снимая с бочки холстину.— Узнает жена, что пошел пенсию, скажет — старик. Сразу бросит. Вот беда.

— А пока, значит, ничего? Не бросает?

— Ничего. Мал-мал обманываем. Ты молодой, голова зеленый — не поймешь,— водовоз подмигнул и тут же сделал строгое лицо.— Держи крепче ведро. Сила нет, что ли? Хуже старика.

Продолжая переругиваться со стариком, Гошка наполнил водой кадку, поставленную на загонке, потом отнес ведро к трактору, вылил в радиатор. Над мокрой горловиной слабо закрутился парок. Мотор не успел остыть, от него тянуло теплом и гарью. Гошка куском пакли протер радиатор, стекла в кабине. Осмотрел машину со всех сторон. Все было уже проверено, но он нарочно выискивал зацепки, чтобы оттянуть время. Шутка ли, на целую ночь лезть в кабину.

Водовоз уехал, заправившись на дорожку доброй порцией табака. В тишине долго тарахтели, удаляясь, колеса брички. Гошка наконец уселся на место, подал знак прицепщику Феде Остапину: поехали. Вечерело. Степь, исчерченная широкими лентами пахоты, затягивалась голубоватой дымкой. Солнце тонуло за камышами озера. Вот его багровый диск как будто сплюснулся, коснувшись горизонта, вот от него остался зубчатый краешек, похожий на раскаленную металлическую подковку. Последний лучик трепетал на небе, но и он вскоре потух. И сразу, едва успело спрятаться солнце, в кабину попал холодок.

Гошка натянул на себя ватник. На втором кругу пришлось включить свет. Огоньки поплыли и на соседних загонках. Блеклый свет передних фар вырывал из темноты полосу: половина ее — пахота, по кромке которой полз трактор, половина — травянистая целина. Задний прожектор освещал плуг и высокую фигуру прицеппика в спортивной куртке.

Гоны длинные, почти километр. Кажется нет им конца, и трактор всю ночь будет ползти в одном направлении. Но вот впереди поперечная борозда — поворот. Гошка оживился, остановил машину, выбрался из кабины.

— Жив, салага?

Федя Останин, поблескивая очками, стряхивал с куртки пыль.

— Н-ничего.

— Это тебе не футбольный матч смотреть в Лужниках. Ну-ка, попробуй, не выдохся еще?

Приятеля повозились, стараясь повалить друг друга, поболтали и тронулись дальше. После поворота стало совсем скучно. Зеленоватая каемка неба, на которую как-то приятно было поглядывать, оказалась теперь позади. Впереди только лента пластов и травы в свете фар. Гошку стала бороться дремота. Скажи ему кто-нибудь раньше, что можно спать под грохот трактора, он бы не поверил. Но сейчас сам спал. Стоило лишь чуть закрыть глаза, как начинала сниться всякая чертовщина. Чтобы прогнать сонную одурь, Рыжик пел во все горло, перекликался с прицеппиком, пробовал даже сочинять стихи. Но все это мало помогало. Он отчаянно клевал носом, выпускал рычаги из рук, так что трактор начинал вдруг пьяно забираться в сторону. В конце концов сон его одолел. Серая кепчонка клонилась все ниже и ниже к ветровому стеклу, пока совсем не сникла, как шляпка надломленного подсолнуха.

Очнулся Гошка от толчка. Трактор грузно перевалил через стертый временем курганчик, и с лязгом катился прочь от борозды. Прицепщик испуганно кричал и размахивал руками. Гошка торопливо выравнивал машину и заглушил мотор. Тишина на миг залепила

уши. Тело налилось приятной истомой, сидел бы так не двигаясь. Подбежал Федя, распахнул дверцу.

— Ты ч-чего, друже? Я тебе к-кричал, з-землей кидал. П-полюбуйся какую р-роспись оставил,— показал на борозды косо прочерченные на траве.

Гошка только теперь окончательно пришел в себя, вылез из кабины, смущенно почесал затылок.

— Черт знает, уснул, понимаешь. Дома успел побывать во сне,— признался он чистосердечно.

— Б-будет нам за это т-твое сновидение,— сказал Федя, протирая очки полой куртки и близоруко поглядывая на приятеля.

Ночь кончилась. Сумрак редел, раздвигался. Зевая и поеживаясь от холода, Гошка обошел борозду, попробовал ногой перевернуть пласты. Махнул рукой.

— Хай его! Запашем. Слушай,— предложил он,— давай малость вздремнем, а? Иначе не только росписей наделаю — в озеро заеду.

— Да ты что? — изумился Федя.— И так в-время п-потеряли...

— Пять минут, честное слово. Можешь засесть на часах. Международная обстановка не пострадает.— С этими словами Гошка поднял воротник телогрейки и повалился на траву. Но тут вдруг показалось ему, что от кустарниковых зарослей, видневшихся метрах в ста от трактора, метнулась серая тень. Сон как рукой сняло.

— Слушай! — Гошка даже голос понизил,— будь я кем угодно, если это не волк. Видишь? Да ты не туда смотришь! Надень очки.

Федя, не понимая в чем дело, водрузил очки на место.

— Б-брось. Откуда тут волки? П-померещилось тебе.

— Я говорю: волк! И там нора, не иначе. Время весеннее, волчат выводят.

— П-поехали лучше. Влетит.

Но Гошка загорелся уже охотничьим азартом.

— Проверим, а? Вдруг повезет. Совхоз за каждого волчонка по овце дает, согласно закону, плюс пятьсот рублей...

Останин заколебался.

— А как волчица там?

— Да я же видел — подалась на промысел. Пошли!

Приятели, вооружились один ломиком, другой чистяком — палкой с железным наконечником для очистки лемехов от земли. Гошка, веривший в удачу, прихватил еще и ведро, чтобы сложить в него волчат. Сначала шли быстро, но по мере приближения к кустарникам стали сбавлять шаг, пока совсем не остановились. Казавшиеся издали невысокими заросли на самом деле оказались чуть не в рост человека. Колочая чаща из таволги, малинника, шиповника и скрюченных теснотой карликовых березок хранила жутковатую таинственность. По спине у Гошки побежали мурашки, а что если напорешься на матерого? Но отступать было уже поздно. Он крепче сжал в руке граненый ломик и с замиранием сердца шагнул в заросли.

В степи встречаются иногда такие каменистые холмы, не то остатки древних поселений, не то могильные курганы. Зимой здесь куропатки клюют ягоды и прячутся от буранов зайцы. Но иногда устраивают логово и волки. Гошке, пока он продирался сквозь кусты, за каждой веткой чудился хищный оскал клыков. Ноги предательски цеплялись за малейшую неровность. Сердце гулко стучало. Позади, так же напряженно, двигался Федя Останин.

Приятели наконец достигли небольшой прогалины в глубине зарослей. Глинистый бугорок перед впадиной в нору весь зарос травой. Гошка стал кидать в отверстие комья земли. Выждал несколько минут — все тихо, подошел к норе. Видимо, логово было давно покинуто обитателями, края норы обвалились, цепкая повитель успела расползтись вокруг. Но вошедшие в азарт охотники не обращали внимания на эти приметы. Начали раскопки. Гошка сам взялся за ломик, а Федю на всякий случай поставил наблюдателем. Почва оказалась малоподатливой, в глине попадались камни. Острие ломака рикошетило и высекало искры. Но Рыжика это только распалило. Увлечшись, он не услы-

шал шороха в кустах, и только испуганный крик Останина: «Беги! Волк!» — вернул его к действительности. Гошка рванулся с места и тут же упал, зацепившись ногой за ведро. Не помня себя от страха, бросился бежать. Только на порядочном расстоянии от злополучных зарослей с трудом перевел дыхание, оглянулся. Нет никакого волка. Рядом сидит на корточках Федя Останин и шарит в траве очки. Гошка обессиленный опустился на землю. Пот градом катится у него по лицу, нос почему-то горел, как обожженный. Потрогал, на пальце осталась кровь, перемешанная с грязью.

— Паникер чертов! — выругался Гошка. — Все у вас в Марьиной роще такие или ты один?

Федя, прилаживая очки на переносице, смущенно ответил:

— Но ведь звук очень п-подозрительный. Легко ошибиться.

— Смотреть надо было, а ты, как барышня кисейная, сразу: «Ах, страшно, волк проглотит!» И ведро бросил под ноги. Связался с таким...

— А ты бы не б-бежал, если очень х-храбрый.

Пока переругивались да спорили, кому идти за брошенным в кустах ведром, показался всадник. И прямо к ним. Сомнения не могло быть — бригадир.

— Полундра, Федя! Нас засекли. Аллах с ним, с ведром. Давай по местам! — скомандовал Гошка и бросился к трактору, рассчитывая до того, как подъедет бригадир отвести машину от злополучной «росписи». Но стартер подвел. Пока возился с заводной ручкой, бригадир оказался рядом. Одного взгляда Матвею было достаточно, чтобы понять, в чем дело: и здесь проспали. Второй случай за ночь. Он придержал жеребчика, спрыгнул с седла.

— Почему стоите?

«Ну, держись, друже», — мысленно приказал себе Гошка, с опаской поглядывая на затененное козырьком фуражки лицо приятеля.

— Заело что-то. Не заводится...

— А в кустах что делали?

— В кустах? — переспросил Рыжик, стараясь при-

дать голосу как можно больше невинности.— Известно... По нужде.

— Ну, а ты что скажешь? — повернулся Матвей к прицепщику.

— П-посмотреть хотели. Д-думали волки и ошиблись,— не смог покривить душой Федя Останин.

— Герои. Носы пообдирали. Посмотрим, что вы тут наработали.

Матвей, ведя коня в поводу, обошел пахоту. Жеребчик привычно ступал по пластам. Зато куда с меньшей уверенностью плелся за бригадиром Гошка. Среди темных дернин там и сям торчали «бороды» — кочья травы, красноречивое свидетельство его единоборства с дремотой. Бригадир молча осмотрел огрехи, потом остановился и взял у Гошки заводную ручку, которую тот по забывчивости нес с собой.

— Иди,— кивнул он,— спи.

Слова эти, сказанные вполголоса, хлестнули Рыжика, как удар кнутом. Он ждал разноса за плохую пахоту и приготовился выслушать его с сознанием своей вины. Но эта короткая команда: «Иди, спи...» Выходит, он отстранен от работы, снят?

Потное, грязное, с содранной переносицей лицо тракториста пошло красными пятнами.

— Что ты, старшой? — начал он бодро и поглядел на наручные часы,— до пересмены еще далеко, и Леонид Волнухин десятый сон досматривает под одеялом...

— Иди и ты, спи,— повторил Матвей.— Бракоделы тут не нужны. Можешь отсыпаться сколько хочешь, но учти, перепашку сделаем за твой счет и за баранку больше не сядешь. Хватит. Будешь картошку с поварихой чистить.

Дело принимало серьезный оборот. Но Гошка в глубине души еще надеялся, что бригадир хочет просто его припугнуть: товарищи как-никак. И сделал попытку смягчить разговор.

— Ладно, виноваты. Просим все же учесть возраст: возможность исправиться есть...

Но Матвей шутку не принял.

— Торгуешься. Не понял? Повторить нужно?

Он был спокоен, этот смуглолицый подтянутый солдат. Только желваки круто выступили на обветренных скулах. Прищуренные глаза смотрели жестко. Таким Гошка ни разу его еще не видел. Понял — не шутит. И не говоря ни слова, покорно пошел к трактору за телогрейкой.

Косматое, будто начищенное до нестерпимого блеска, весеннее солнце успело высоко всплыть над горизонтом, пока Гошка Свиридов плелся на стан. Его мучил голод. Однако прежде чем направиться на кухню, он огляделся — нет ли там кого из ребят: встреча с товарищами сейчас его мало устраивала. Возле дощатого навеса кухни Катя Селезнева ставила на телегу термосы — завтрак на полосу. При виде ее белой косынки Гошка забыл о своих неудачах. Эта девушка-хлопотунья с милой улыбкой нравилась ему все больше и больше. Вспомнил угрозу бригадира послать его чистить картошку, что ж, лучше ничего и не придумаешь.

Гошка осторожно подкрался к девушке сзади и, наставляя на нее пистолетом кривой сучок, подобранный по пути, скомандовал:

— Руки вверх! Жизнь или завтрак!

Катя, завязывавшая в узел посуду, испуганно ахнула:

— Рыжик, дурной! Ну, разве можно кричать так над самым ухом. Даже в голове зазвенело, — она прижала маленькую ладонь к уху.

— Так ведь по необходимости. Побоялся, уедешь, придется с пустым желудком загорать до обеда.

— Садись, я соберу быстро. Только умойся. Ой, ушибся ты, что ли? — девушка встревоженно дотронулась пальцем до ссадины на носу у Гошки.

— Пустяк. Задело случайно... — отмахнулся Рыжик и покосился на умывальник. К нему надо было идти мимо вагончика, а там обязательно на кого-нибудь наткнешься.

— Ладно, — сказал он, — потом умоюсь основательно. Умру, если сделаю лишний шаг, честное слово.

— Ну, хоть руки вымой, я тебе дам горячей воды.

Катя половником зачерпнула воду из котла, подала мыло и чистую тряпку. На руки сливала она как-то особенно осторожно и ловко. Гошке хотелось одного, чтобы вода в черпаке не кончалась. Он, как хирург перед операцией, тщательно промывал каждый палец, нарочно уронил несколько раз мыло, чтобы затянуть время. Нет, его положительно устраивала роль помощника повара. Вот он вытер руки, сел за длинный артельный стол. И не надо было стоять, как обычно, в очереди у котла. Повариха сама принесла ему полную миску горячей лапши с мясом, сама нарезала хлеб. Гошка чувствовал себя на седьмом небе. Далеко не каждому выпадает такая честь. С аппетитом хлебал лапшу и из-за миски поглядывал на девушку. Заметив, что она укладывает в телегу топор, спросил:

— Это зачем?

— На обратном пути заеду в лес: дрова у меня кончились. Гошка обрадовался:

— Погоди, вместе поедем!

— Ой, зачем, — смутилась Катя. — Я привычная. Зимой все время езжу.

— Тебе отдыхать надо.

— На сон человек тратит чуть не полжизни. Один разок не поспать — это даже полезно. К тому же я официально определен к тебе в подручные, честное пионерское. Едем.

Гошка торопливо дохлебал лапшу, на ходу выпил кружку квасу и через минуту уже сидел на грядке телеги, неумело расправляя вожжи. С новой своей ролью он быстро освоился и на полосе деловито помогал поварихе снимать термосы с телеги и расстилать на траве клеенку. Чувствовал он себя свободно еще и потому, что никто из ребят здесь пока не знал об отстранении его от работы.

После того как завтрак был развезен, завернули в лесок, набрали валежнику. Под деревьями кое-где еще держался снег, темный и зернистый. Запах прели и набухших почек бражно бил в ноздри. В вершинах берез стрекотали сороки.

Гошка и Катя прошли немного от опушки и оста-

новились. После горячего ветерка, гулявшего над пашней, прохлада леса приятно освежала.

— А здесь веселее, чем на тракторе,— признался Гошка, восхищенно оглядываясь по сторонам. В упор посмотрев на девушку, опустил глаза.— Березки на тебя похожи, такие же красивые...

Катя растерялась от неожиданности, покраснела. Боясь, как бы он не сказал чего-нибудь еще, заспешила:

— Ты бы летом посмотрел, здесь столько ягод, особенно костяники. Знаешь, красная такая, прозрачная, с косточкой внутри, как петушиный глаз. Может быть, в ваших местах по-другому называется?

— Я же горожанин,— напомнил Гошка.— А в городе ягоды в магазине. Но я бывал в деревне, у бабушки, костяника так и называется. Только на Урале больше голубики и клюквы. Голубику зовут гонобобель. А клюкву собирают после морозов, тогда она не такая кислая и лежит на кочках, как насыпанная.

— А мне костянику нравится собирать,— продолжала Катя,— возьмишь — и сразу полная горсть.

— А ты знаешь, о чем я подумал? — спросил Гошка.— Вот бы хату построить возле такого леса, чтобы дверь распахнул — и сразу деревья. Или сад насадить фруктовый: яблонь, груш... Весной — сплошное цветение. Красота! А деревья, чтобы не погибли, можно зимой укрывать соломой.

— Ой, да пустяшные это разговоры, Рыжик.

— Почему?

— Не будешь ты садом заниматься, нет,— Катя вздохнула с невольной грустью.— И другие ваши ребята не будут. Все вы тут, наверное, временные. Потянет на родину — и уедете...

— А я останусь. И дом построю и сад разведу,— горячо возразил Гошка.— И женюсь здесь... Вот, только одно сомнение,— он притворно вздохнул,— пойдет кто за рыжего?

— Ой, что ты? Конечно...

— Пойдет? Неужели? И шевелюры моей огненной не побоится?

— Душа в человеке главное.

— А если у меня характер дрянь? Ты же ведь обижаешься?

— За что? Нет,— Катя протестующе замотала головой.

— Нисколько?

— Ни капельки.

— В таком случае, держи! За доброе сердце,— волнуясь, Гошка извлек из кармана нежно-фиолетовый подснежник, который сорвал дорогой и все не решался отдать девушке.— Помялся немножко... В следующий раз наберу свежих...

— Какой красивый! — обрадовалась Катя и прижала цветок к лицу. Сверху донеслось нежное пощелкивание, словно кто-то осторожно пересыпал камушки.

— Что это?

Оба враз вскинули головы и с минуту стояли рядом, глядя в голубой просвет неба между вершинами берез.

— Скворец,— определила Катя.— Вон он примостился на сломленной ветке. Видишь?

— Вижу,— соврал Гошка. Ничего он не видел, но ему приятно было стоять рядом с девушкой.

— Ой, что же мы прохлаждаемся? — спохватилась повариха,— а дрова? Времени сколько потеряли, не успею обед сварить.

Они склонились за топором одновременно и стукнулись лбами. Рассмеялись. Возникла шутливая борьба из-за топора.

Дров набрали быстро, но едва отъехали от леса, телегу вдруг резко трянуло, и она накренилась на один бок, готовая опрокинуться. Гошка спрыгнул с вoза и только свистнул: переднее колесо развалилось. Ступица, как растопыренными пальцами, упиралась спицами в землю. Куски обода и истертая до морозного блеска железная шина валялись рядом. После горестных раздумий и недобрых слов в адрес совхозного начальства нашли выход: подсунуть под переднюю ось жердь и так добраться на стан. Вооружившись топором, Гошка вернулся в лес. Но березки, как нарочно, попадались молоденькие, тонкие, рубить их было жалко и он ходил минут десять, пока не очутился на противопо-

ложной опушке. Здесь паслась лошадь, позвякивая металлическим пугом, и стоял ходок, в тени которого спали на разостланной попоне двое незнакомых мужиков. Причину их богатырского сна Гошка понял сразу, заметив остатки закуски и пустую бутылку из-под «Столичной», валявшуюся в траве. Попытка его разбудить путников обычным покашливанием ни к чему не привела. Даже когда он, озорства ради, пощекотал одному из них — усатому дяньке — кончиком прутика за ухом, тот не проснулся. На минуту лишь оборвал храп, перевернулся на другой бок и захрапел еще басовитее. И тут Гошку осенила идея — к чему выскрывать какую-то жердь, когда есть возможность сделать все гораздо солиднее? «Не будут пьянствовать, где не положено», — успокоил он себя, пробуя приподнять передок ходка.

Катя только руками всплеснула, когда он появился из лесу, гоня впереди себя новенькое, ошинованное колесо.

— Ой, что это? Где ты взял?

— Там, — махнул Гошка в неопределенном направлении. — Нашел...

— Ой, да неправда это, Рыжик. Связалась с ним, господи. Беды не оберешься.

— Никакой беды нет. Говорю, нашел. Чего шум подымать? Помоги лучше.

На стан доехали благополучно. Но сбрасывая возле кухни дрова, Гошка заметил верхового и сердце у него ёкнуло: погоня! Недолго думая, он снял колесо, откатил в сторону. И вдруг схватился за живот, изобразив на лице страдание.

— Что с тобой, Рыжик? — встревожилась Катя.

— Желудок, — еле выговорил Гошка. — Скрутило... Дохнуть невозможно...

— Еще не лучше! Может быть, чаю горячего?

— Не надо. Отлежусь. Я пойду. Ох! — застонал Гошка и, скрючившись, ползая к вагончику. Там он, забыв про болезнь, быстро стянул с себя сапоги, разделся и юркнул под одеяло. Лежал, с тревогой прислушиваясь к звукам за стенкой вагончика.

Матвей Борзов и агроном отделения только что

вернулись с поля и рассматривали на обеденном столе карту замлепользования. Владелец ходка сначала объехал стан и лишь после этого спешился и подошел к столу. Вся его гвардейского роста фигура с помятым после сна мясистым лицом и усами моржа дышала гневом.

— Кто тут будет бригадир или еще какой начальник?

— Я бригадир,— ответил Матвей и встал из-за стола. Агроном — молодой парень, оторвался от карты, с любопытством разглядывая приезжего.

— Тогда я до вас,— усач перехватил повод из одной руки в другую...— Это бригада совхоза «Озерный»?

— Да. А в чем дело?

— А то, что хулиганье у вас! Разве ж можно? Ехал я из райцентра с совещания по заготовкам. По пути остановился, конь устал, да и самого пораструсило. Соснул немного. Открываю глаза, а его и нет...

— Кого нет? — не понял Матвей.

— Та колеса с ходка! Остался, як плохий конь на трех ногах.

— Украли, что ли?

— А то ж? Не само убегло, ясно. Стянули, бисовы дети, шоб им треснуло!

— Вы что же, видели, кто снял у вас колесо? — вмешался агроном.

— В том-то и дело, что не видел. Иначе тот ворюга ног бы не унес. По следу нашел. Я свое колесо за- всегда узнаю. Ваши хлопцы в лес ездили, они и взяли. Та вы сами побачьте, телега хромая. Верните мне колесо,— перешел незнакомец на ультимативный тон.— Моя фамилия Мазур. Если не отдадите, заявлю в милицию. Вот поеду прямо отсюда и заявлю. Это что же творится? А? Ограбили! Среди белого дня...

Матвей, едва зашла речь о колесе, понял: дело рук Гошки Свиридова. Видел, как тот сгружал дрова с телеги. Вскипел — утром пахоту напортил, теперь выкинул номер еще чище. Но гнев пришлось подавить. Дело могло принять скандальный характер, надо было как-то смягчить воинственность потерпевшего.

— Вы не волнуйтесь,— примирительно сказал Матвей. Разберемся. Выясним.

— А чего тут выяснять? Отдавайте колесо — и все! Милиция пусть разбирается. Было бы собственное колесо — хай с ним, а то ж государственное. Разве можно терпеть такое безобразие?

— Да вы успокойтесь,— повторил Матвей.— Уладим. Садитесь. Квасу хотите? Холодный, забористый...

— Та какой там к бису квас? С такого настроения в глотку ничего не полезет,— отмахнулся Мазур, однако присел на скамейку. По тому, как жадно дернулся его кадык, Матвей догадался: хочет пить, и сделал незаметный знак поварихе. Катя принесла запотевшую от холода алюминиевую кружку с квасом.

Потом Матвей выложил перед Мазуром папиросы. И убедившись, что эти дипломатические шаги возымели действие, отошел с поварихой в сторону.

— Сознаться, взяли чужое колесо?

— Ой, с этим колесом! Я как чувствовала. Свое у нас сломалось, жердь хотели приладить. А потом... Что же теперь будет, Матвей Иванович? — девушка в отчаянии стиснула на груди маленькие кулачки.

— Протокол составят, вот что. Чорт бы вас побрал! Где Свиридов?

— Заболел он... В вагончике.

У Гошки от напряженного ожидания и на самом деле заныло в животе. Он весь сжался и даже зажмурился, слышав шаги на лесенке.

— Ну-ка, багдадский вор,— сказал Матвей ничего хорошего не обещающим голосом и потянул с него одеяло,— вылазь на свет божий! Чего скрючился?

— Желудок... Никакого терпения...

— Надсадился? Ну, сейчас дядька там тебя вылечит. Где колесо?

Гошка сделал вид, что не понимает:

— Какое колесо? О чем ты?

— Ладно, без спектакля. Гони давай, хозяин приехал.

— Это какой, с усами? — живо переспросил Рыжик.

— Знает кошка, чье сало съела. Ну-ка подымайся!

— А что особенного? Ну, взял в порядке одолжения, пусть не пьянствуют. Валяются, а тут, можно сказать, производство страдает. Обед задерживается для целой бригады,— ворчал с притворным возмущением Гошка, поднявшись с постели и нарочно медленно шаря под ногами сапоги. Да, это были нелегкие минуты в его жизни. Шум разбудил ребят, и под их любопытными взглядами Гошка, как сквозь строй, прошел по вагончику. До места, где лежало колесо, бригадир сопровождал его, точно арестованного.

— Вот оно.

— Бери,— приказал Матвей.

— Мне самому нести?

— А ты думаешь, я за тебя понесу?

— Так тот дядька расвирепел небось... Прихлопнет запросто,— паренек зябко поежился.

— Струсил. Брал — не боялся? Выкручивайся, как знаешь. Загребут в милицию, и заступаться не буду. Жуликов не жалко.

Гошка не принадлежал к трусливому десятку, но у него дрогнули поджилки при виде усатого детины, поднявшегося навстречу.

— Ваше? — спросил Матвей.

— А то ж? Оно,— кивнул Мазур и уперся взглядом в Гошку.— Оцей рудый, значит, и укатил?

У Рыжика похолодело внутри: пропал! «Кулаком двинет или стегнет кнутом?» — мелькнула мысль. Он даже зажмурился, ожидая, что бригадир сейчас подтвердит. Но Матвей сказал:

— Вы извините, товарищ Мазур. Колесо действительно взяли наши. Но непосредственных виновников на стане нет: ушли на смену. Мы их накажем строго, не сомневайтесь.

— Успели сбежать,— разочарованно произнес дядька, продолжая не без сомнения разглядывать Гошку.— Ну, хай буде по-вашему. За хулиганство вы примите меры, чтобы такого не повторялось. Надо бы колесо тащить заставить того, кто брал. Как вот мне везти, чертяку? — добавил он почти мирно.

Точно скала свалилась с Гошкиных плеч: пронесло!

— А вы не беспокойтесь,— подал он голос,— мы это устроим!

Окончательно осмелев, он помог заготовителю взгромоздиться на лошадь, подал колесо и даже помахал рукой на прощанье. Но вся его приподнятость улетучилась, едва Гошка оглянулся на бригадира.

— Пошли, герой,— хмуро кивнул Матвей,— побеседуем о твоих подвигах.

Беседа оказалась не из приятных. Гошка даже пожалел, что усач не огрел его кнутом: перетерпел бы боль — и на этом конец. Черт знает, и не было никого на стане, а тут собрались вокруг стола, как собрание, агроном сидит, Кузьма Демин скалит зубы, а главное Катя... Перед девушкой Гошке было особенно неудобно. Вспомнили все — сон на тракторе, грехи, поход за волчатами, не говоря уже об этой злополучной истории с колесом. И возразить было нечего. Как мог старался сохранить неунывающий вид. Но шутки его, в другое время нравившиеся товарищам, теперь только злили их. Больше всех сердился Иса, только что подъехавший с водовозкой.

— Чего смеешься, почему веселый? — горячился старик. — Пахал плохо, колесо воровал: от этого весело? Смеяться — хорошо, веселым быть — хорошо. Только одного смеха мало, Гошка. Совсем мало.

— А чего не хватает?

— Голова не хватает, вот чего. Себя не уважаешь, людей — не уважаешь. Понял?

— А ты попроще, аксакал.

— Можно совсем проще. Хочешь, случай расскажу старой жизни? Был Озерном кузнец Иван Старков. Сорок лет дело имел железом. Руки черные, огонь сжег. Золотые руки. Все могли делать: коня подковать, ножик сделать, арба починить. Очень люди уважали Старкова. Отдал отец меня Ивану учиться на кузнеца. Иван молотком стучит, я кольцо дергаю, меха раздуваю. Силы мало. Какой сила, если тебе двенадцать лет? Руки болели, спина болела. Иван жалел, сам за меня часто работал. Хороший был человек, сердце доброе. Один раз работаем. Жарко, дым, голова кружится. Иван молоток бросил — отдых. Я обрадовался,

сел наковальню, и вдруг он меня бьет затылок. Больно бьет. Что такое? Никогда не дрался, почему теперь дерется? Обидно стало. Плачу. А Иван пальцем грозит: Я, говорит, хлеб себе зарабатываю наковальне, а ты, шайтан, сел поганым местом. Уважение рабочему месту нет. Будешь так делать — плохой кузнец выйдешь. Вот как сказал...

— Мудро очень. Мы люди темные, с одного раза не доходит,— попытался отделаться шуткой Гошка.

— Работать не любишь. Чего непонятно? Машину не любишь. Лопату бери, землю копай. Другой техника доверять нельзя,— заключил старик, и, как бы подчеркивая бесполезность дальнейших разговоров, отошел в сторонку и стал насыпать на ладонь табак из стеклянного пузырька.

— Проси извинения у общества, Рыжик,— посоветовал Демин.

— Иса п-прав б-безусловно,— начал запальчиво Федя Останин.— Работали мы отвратительно, с п-позорным браком. Я лично п-принимаю упреки на свой счёт п-полностью. Думаю, что то же самое сделает и Свиридов...

Гошка решил, что сейчас самое лучшее для него — уйти.

— А ну вас с вашими внушениями! Навалились на одного,— отмахнулся он и, сунув руки в карманы, направился к вагончику. Просто человек пошел спать, ночь-то он все-таки как-никак проработал и имеет право на отдых.

Но уснуть ему не удавалось, несмотря на все усилия. Гошка ворочался с боку на бок, клал на ухо подушку — ничего не помогало.

Как и многим двадцатилетним, жизнь Гошке Свиридову казалась предельно простой и ясной. Он не боялся за свое будущее, зная, что оно будет таким, как нужно. Анализ собственной судьбы занимал его мало. После окончания десятого класса большинство ребят пошли работать на завод, пошел и он. Будучи человеком способным, быстро овладел профессией токаря. На заводе организовали курсы трактористов без отрыва от производства — он поступил за компанию на кур-

сы. И когда потом другие поехали на работу в деревню, он тоже не отстал. Новые места сразу прились ему по душе. Нравилась романтика бивачной жизни: степь, костер в темноте, камышовый простор озера. Приятно было видеть мир, не стиснутый громадами многоэтажных домов, приятно обедать на воздухе, держа тарелку на коленях. Но главного — радости труда хлебороба он еще не почувствовал и не понял. Новая профессия обернулась к нему пока что одной лишь стороной: трудностью. В сущности все они — и бригадир, и Иса, и Федя Останин — правы: работать с браком нельзя. Нельзя спать за рычагами, тратить дорогое время на раскопку старых волчьих нор и прочую чертовщину. Вопрос ставился перед ним сурово: или работать в полную силу, или отправляться на все четыре стороны.

Нет, мысли окончательно не давали Гошке покоя. Солнечный лучик подполз к потолку, значит наступил вечер, а он все продолжал ворочаться и кряхтеть, как старик. Наконец лежать стало невозможно. Гошка поднялся и вышел из вагончика. Стан уже опустел, все ушли на пересмену. Одна Катя возилась на кухне. Гошка наломал хвороста, положил перед девушкой.

— Спасибо.

— Думаешь, и помощником повара не доверяют?

— Ой, да ну тебя...

— Ты же видела, не взяли в милицию. Привода в анкете числиться не будет. Сердишься, да?

— Неудобно за тебя, Рыжик,— Катя опустила руки, в одной ножик, в другой недочищенная картофелина.— Люди так стараются...

— Один я лодырничая,— подсказал Гошка и оживился.— А тебе хочется, чтобы и я постарался? Скажи, хочется?

— Ой, неужели ж нет? Разве лучше, если ругают?

— Так вот: больше не будут.

— Что?

— Ругать не будут,— решительно повторил Гошка.— Могу дать слово, что дня через три учетчица начнет сводку с моей фамилии.

- Рыжик...
- Железно говорю. Где начальство?
- Возле сеялок Матвей Иванович.
- Пойду на переговоры,— сказал Гошка, поправляя замок на куртке и покосился не без опаски в ту сторону, где стояли сеялки. Как там у бригадира настроение: перестал шуметь?

XII

Зашуршали кусты. Звякнула створка. В окно просунулась вихрастая головка Леси Чупрова. Мальчик висел, уцепившись руками за подоконник и шумно дышал, раздувая ноздри. Глазенки его с любопытством метались по комнате. Таня вывела красными чернилами отметку в тетрадке с диктантом и строго посмотрела на ученика.

— Это что еще за фокусы, Чупров? Разве ты не мог войти в дверь?

— Шарик у вас... Кусается.

— Шарик привязан. Просто тебе захотелось выкинуть шалость. И какой чумазый, боже мой! Где ты успел вывозиться?

Смутившись, мальчик хотел спрятать руки и оборвался с подоконника.

— Вот видишь, упал. И, наверное, ушибся? — Таня обеспокоенно выглянула в окно.

— Н-нет...— Мальчик, потирая колено, снизу вверх виновато глянул на учительницу.— Это потому, что палец у меня чинкой порезанный, а так бы я и одной рукой удержался.

— Одной рукой... Силач нашелся. Ну, что у тебя?

Пауза. И снова взгляд исподлобья, теперь уже нерешительный.

— Василий Кузьмич послал: «Беги, говорит, узнай: дома Татьяна Николаевна. Если не ушла, то пусть подождет...»

— А где Василий Кузьмич?

— Он в кузне: Серка там подковывают.

Таня задумалась. Предстоял воскресник. Учителя договорились собраться возле школы и оттуда всем

вместе поехать в бригаду работать сеяльщиками. Оставалось полчаса. Таня вдруг изменила план.

— Иди, Леня, скажи Вере Ивановне пусть меня не ждут. Я пойду пешком. Да умойся, пожалуйста. Как не стыдно бродить таким кочегаром?

Она быстро собралась. Надела старенький жакет, резиновые сапоги, перед зеркалом подвязала волосы косынкой. И сразу стала похожей на деревенских девчат. Чтобы не встретиться с Кудашкиным, глухим перульком выбралась за село. Небольшое, пересыхавшее летом озерцо с берегами, испечатанными копытами телят, горело на солнце, как брошенное зеркало. Земля источала густой бражный дух. Струи марева текли над дорогой, казалось, протяни руку и почувствуешь их упругость.

Таня собрала букетик золотистых подслеповатых одуванчиков и шла, изредка оглядываясь назад: не догоняет ли машина. Ей хотелось громко запеть от избытка радости. Тот короткий разговор с Борзовым возле ограды школьного сада не прошел для нее бесследно. Все эти дни она жила в каком-то ожидании: вот-вот что-то случится, что-то произойдет с ней новое, радостное.

Близкий стук колес вывел ее из задумчивости. Серый в яблоках рысак, запряженный в ходок, шел галопом, красиво выбрасывая точные ноги. В плетеном коробке сидел Кудашкин. Поравнявшись с Таней, пустил коня шагом. Поздоровался.

— Издали и не узнать, думал, кто из сеяльщиц идет. Ленька Чупров был у тебя?

— Был.

— И ты, выходит, специально поторопилась? От меня подальше?

— Послушай, Василий Кузьмич,— Таня сердито поморщилась.

— Уже, значит, официально: по имени отчеству? — перебил ее Кудашкин с грустной ухмылкой.— Быстро...

— Василий,— поправила Таня.— Что это за парламентары? Чупров мой ученик, пойми. Зачем ты при-

бегаешь к его помощи? Нехорошо. Не делай этого, пожалуйста.

— С Ленькой ошибка, конечно,— согласился Кудашкин.— А все это отчего? От отчаяния. Ты избегаешь, а у меня разговор серьезный. И на записки никакого ответа. Садись, подвезу. Пешком — далеко.

Ехали молча. Ходок мягко подкидывало на неровностях дороги, брэнчала отставшая железная подножка. Пахло конем и пылью.

Все было так, как два года назад... Тогда Кудашкин отыскал ее в гостинице райцентра, где она томила в ожидании попутной машины. Вошел по-хозяйски шумно, подхватил ее не очень громоздкие вещи — чемодан, узел с постелью, книги и еще посмотрел так, точно раздумывал — не прихватить ли разом и ее самое. Председатель колхоза оказался человеком словоохотливым. Перспектива очутиться в далеких чужих Ключах мало радовала Таню, и она была почти благодарна парню, который хотя и с некоторой вычурностью, но зато вполне добросовестно занимал ее всю дорогу разговорами. Самой ей говорить не хотелось, и она коротко отвечала лишь на прямые вопросы, а то и просто отмалчивалась, занятая своими мыслями. В сознании все еще не укладывалось как следует, что вот педучилище окончено и ей предстоит жить и работать в деревне, за триста километров от города, и первые зимние каникулы, когда можно увидеть маму, будут лишь через пять месяцев. Прошло всего несколько дней, а она уже соскучилась по дому, подругам, по всему привычному, что осталось где-то далеко-далеко за расплывчатой гранью степи. Лежавшие рядом дорожные вещи казались единственной связью с тем дорогим с детства миром, с которым пришлось расстаться.

В деревне Кудашкин решительно повернул к дому Платона Селезнева, и пока Таня выбиралась из телеги, успел что-то шепнуть хозяйке, высокой крупнолицей старухе, с нескрываемым любопытством рассматривавшей приехавшую горожанку.

— Дочку вам вторую привез, Ермолаевна. Прошу

любить и жаловать. Будет находиться под моим личным контролем в смысле устройства на новом месте,— сказал Кудашкин тоном приказа, ставя чемодан на пол в прохладной горнице.

Таня, благодарная за заботу, искренне пожала ему на прощанье руку. Кудашкин на следующий день зашел узнать, хорошо ли устроилась учительница на новом месте. Через несколько дней он снова наведался и потом стал запросто заходить. И Таня, чувствовавшая себя одинокой на новом месте, тоже постепенно стала относиться к нему как к доброму знакомому. Когда он однажды после кино предложил проводить ее домой, она согласилась. Долго бродили вдвоем по тихим, скованным легким морозцем улицам, прежде чем расстались возле знакомой калитки с колечком.

В теплой горенке, где уже крепко спала восемнадцатилетняя дочь хозяйки Катя, Таня долго лежала с открытыми глазами, стараясь разобраться в своих поступках. Правильно ли она делает, принимая явные ухаживания человека, которого совсем мало знает? Ответа на вопрос так и не нашлось, и она заснула, пожалуй, впервые крепко и без сновидений, как дома.

...Снег в эту зиму лег по-настоящему только в конце ноября. Он падал всю ночь, тихий, густой, точно его накопили где-то и потом высыпали сразу на зачоченевшую от стужи землю. А утром над миром, тепло укутанным в снежное одеяло, торжественно всплыло яркое зимнее солнце. Был воскресный день. Девушки сгребали во дворе снег, когда пришел Кудашкин с двумя парами лыж. Лучшего сюрприза трудно было придумать. Лыжи были совсем новые, с полужесткими креплениями и очень удобными бамбуковыми палками, очевидно, прямо из магазина.

Несмотря на радостное настроение, Таня по селу прошла скромненько: силу деревенского общественного мнения она уже в какой-то степени представляла. Только за селом дала волю своему ликованию. Быстро справившись с креплениями, взмахнула палками и стремительно заскользила вниз с крутого увала. Ку-

дашкин настиг ее в конце спуска, спустившись наперерез. Не успев ни затормозить, ни свернуть в сторону, Таня с размаху налетела на него. А он, крепко обхватив ее за плечи, приблизил к ней свое покрасневшее на морозе лицо, произнес взволнованно и властно:

— Моя жена...

Свадьба, а затем первые дни в доме мужа проплыли перед Таней, как в тумане. Толчком, как бы вернувшим ее к действительности было письмо матери. Мать сухо, как чужая, поздравила ее с замужеством, заметив в конце, что «она взрослая и вправе поступать так, как находит нужным». Об одном просила сообщить: по велению ли сердца решила ее дочь на столь серьезный шаг? И этот единственный вопрос оказался самым трудным для Тани. Она так и не смогла ответить прямо и все свела к расплывчатому заверению: живем хорошо. Между тем в ее отношениях с мужем очсь скоро начали обнаруживаться шероховатости. И немалую тут роль сыграла свекровь. Костлявая, сгорбленная какой-то болезнью, но подвижная и энергичная старуха не долго умилялась молодой невесткой. Вскоре она заявила, что не в состоянии управляться с хозяйством и по утрам уже не вставала с печи.

Тане пришлось варить картошку для свиней и доить корову. Неопытность невестки в хозяйственных делах была в тот же день во всех подробностях доведена свекровью до сведения сына. Потом старуха уже ни к чему не прикасалась, по целым дням лежала на теплой трубке и притворно охала, пристально наблюдая за каждым шагом снохи.

Таня, забросив подготовку к урокам, с утра до ночи возилась по дому: мыла, стирала, стряпала. Руки огрубели и сделались шершавыми от работы. Все приходилось постигать самой. Старуха, если даже и видела, что она делает что-то не так, молчала, выжидательно поджав пергаментные губы. Особенно не давался Тане хлеб. Она вся изводилась, прежде чем извлекала из печи десяток обугленных бесформенных караваев. А старуха нарочно подкладывала за ужином сыну горелые ломти.

Между прочим, горелый хлеб хотя и признается медицинской полезным для желудка, однако употреблять его не совсем приятно,— сказал он однажды, поглядывая на жену, виновато потупившуюся на противоположном краю стола.

Кудашкин дома почти ничего не делал. Утром сразу уходил, забывая даже задать корму корове. Потом и возвращаться стал поздно. На тревожный вопрос жены отмахивался с усталым видом:

— Совещались. Секретарь райкома приезжал.

Он ни разу не поинтересовался ее работой в школе и не посвящал ее в свои дела. Бывает так с посудой: от неосторожного удара пробежит по гладкой фарфоровой поверхности чуть различимая извилина, словно нацарапанная кончиком иглы. Посуда от этого не развалится и долго еще будет служить. Но трещина бежит все дальше, ветвится, пока новый удар не превратит все в черепки. Холодок отчужденности, появившийся в сердце Тани, рос и углублялся подобно трещинке. Роль удара сыграла записка, выпавшая однажды из пиджака мужа. Таня в тот день с утра развела в доме уборку. В полинялой ситцевой кофточке, с руками, забрызганными известью, стояла она посреди комнаты и растерянно вчитывалась в любовные объяснения, шевеля губами, как малограмотная. Вместо подписи стояла одна буква Д. Но Таня знала, что это Дашка Лебедева. Ей еще перед свадьбой кто-то из досужих соседок дал понять, что девушка равнодушна к Кудашкину. Теперь было совершенно ясно, что связь их продолжается.

Молча, лихорадочно торопясь, Таня покидала как попало в чемодан вещи и ушла на старую квартиру.

Платон Селезнев принял ее, но предупредил:

— Живи, куда денешься. Только уж к квартирной плате десятку придется подкинуть, за неустойку, так зать... Как-никак беглая жена, с управляющим из-за тебя могут быть осложнения. Да и вдруг одумаешься, уйдешь, а я человека другого могу упустить.

Первое время, когда пришлось объясняться по поводу ухода от мужа в школе, перед учителями, в письме перед матерью, что-то еще мучило — может быть,

надо переломить себя? Забыть? Простить... Потом колебания исчезли. Но сейчас, видя, с каким огорченным видом Кудашкин силится наладить разговор, она подумала — как легко покончить сейчас с разрывом. Можно даже не говорить, просто молча прижаться щекой к упругому плечу, которое от нее так близко — и все будет забыто.

Таня сама испугалась этой легкости. Нет, примирение невозможно. Зачем? Зачем искусственно сближать расстояние, отделяющее ее от этого человека?

Кудашкин, видимо, понял ее мысли. Мрачно кивнул.

— Так, значит, заводить речи не к чему? Кругом пустота — и в сердце и в мыслях. А может быть, и не совсем пусто? — холодно сощурил желтоватые кошачьи глаза. Этот его взгляд, с глубоко спрятанной злой усмешкой, Таня хорошо помнила и невольно отодвинулась, насколько позволял тесный коробок.

— Не хочу разгадывать твоих намеков. И вообще, нам лучше оставить друг друга в покое. Остановись, я сойду, — потребовала она.

— Толкаешь меня на грубость? Ладно. Учти, что ты моя жена как-никак. И от своих законных прав я пока не отказываюсь. И если уж другие... — Резким движением Кудашкин привлек ее к себе, пытаясь шершавыми губами поймать ее губы. — Ничего... Все будет в порядке... Договоримся. Сейчас... — сбивчиво зашептал он и, перехватив вожжи, с силой потянул на себя.

Конь, испуганно шархнулся с дороги и понес ходок к круглому, как зеленая папаха, колку. Таня вскочила на ноги, рискуя вылететь из ходка, с силой оторвала от себя руку Кудашкина. И тотчас совсем близко за лесом раскатисто затарахтел трактор.

XIII

Две женщины в одинаково подвязанных платках с напуском на лоб для защиты от солнца насыпали пшеницу из вороха в мешки. Гусеничный трактор в пыли и грохоте таскал сеялки. Поле из конца в ко-

нец было расчерчено полосами. Там, где только что прошли сеялки, оставался аспидно-черный, точно проведенный тушью след, где земля успела подсохнуть — серый. Грачи кружили над пашней, безбоязненно садились возле трактора.

Таня в лесу перед карманным зеркальцем привела себя в порядок, подошла к женщинам. Кудашкин не заехал на полосу, свернул в сторону. Женщины, увидев учительницу, бросили работу. Фекла Завьялова, мать Таниной ученицы, поставила ведро вверх дном:

— Садитесь, Татьяна Николаевна. Уж не пешком ли этакую даль? У нас додумаются — по пустыкам машины гоняют, а хватись человеку для дела — не допросишься.

— Меня подвезли, — сказала Таня, — на лошади. Кто подвез — говорить не хотелось.

Фекла стала расспрашивать о своей дочке. Трактор сделал поворот и остановился возле межи. Подошли сеяльщики: Чупров-Большой и весь запорошенный пылью, похожий на чабана в своей лохматой шапке Платон Селезнев. Чупров поздоровался с учительницей за руку и тут же, стоя, принялся свертывать сигарку. Платон же сразу пластом повалился на землю и, потирая поясницу, выругался:

— Ну, работенка, язви ты в душу, полон рот земли! Под старость наделили, так зать, должностью. Весь день в наклоне, а у меня радикулит, будь он неладен. Впору хоть с посевной да сразу на пенсию.

Только отдышавшись и отведав душу руганью, обратил внимание на квартирантку:

— Наше вам почтение. Уж не дома ли что стряслось?

— Дома в порядке. Это для Кати, — протянула Таня узелок.

— Еще что за новость? Будто в тюрьму передачи, — недовольно проворчал Платон, ощупывая содержимое узелка. — А може, сама и отдашь? Лекцию небось читать в бригаду?

— Я сюда на воскресник.

— На воскресник? — переспросил Селезнев и с сом-

нением покачал шапкой.— Мобилизация, так зать. Замах большой сделали, надо вылезать из положения. стараются... Тогда бы уж за одним и детишек тащили сюда, старух, которые на печке сидят.

— Что, Платон, потемнел уже за два дня? — усмехнулся в курчавую голову Чупров.— Надеешься лекцией смыть с себя все до единого пятнышка? Трудно это...

— Так ведь сроду учителя газеты читать ходили. Помню, была тут одна барышня после войны: фундунди, прическа с фокусом, очки. Каждый день в контору и за горло,— агитатор я, давай лошадь в бригаду ехать. А потом выяснилось — парень у нее там знакомый. Ну, и пользовалась колхозной лошадкой для свидания так зать...

Многозначительная усмешка Селезнева кольнула Таню: «А может быть, и я похожа на ту барышню?»— подумала она и, как бы желая оправдаться, сказала:

— Я не одна, приедут все учителя.

— Дело хорошее,— одобрил Чупров, окутанный махорочным дымом, как вершина горы облаком.— Сейчас каждый человек на счету. Ну, однако, пора, покурить можно и дорогой.

— Я с вами, Петр Анисимович,— Таня решительно взялась за уголок мешка с пшеницей. Только бы не оставаться с Платоном Селезевым. Но Чупров отстранил ее, легко сам вскинул мешок на плечи и зашагал к сеялкам, проваливаясь в пахоту и поскрипывая протезом. Он принес еще несколько мешков, высыпал их в бункер. Разгребая руками пшеницу, говорил:

— Освойтесь быстро, Татьяна Николаевна. Наука нехитрая. Следить, чтобы зерно поступало в высевной аппарат равномерно, ну, выбросить соломинку какую или камешек, ежели попадут — и вся мудрость. В случае какого затруднения, зовите. Буду рядом. Окуляры бы хорошо вам, земля хотя и не очень сухая, а в глаза летит. Поехали!

Таня ухватила рукой за кромку бункера, стала на узкую доску позади сеялки. Подножку слегка покачивало. Лыдинками перезванивали металлические диски. Пыль щекотала в носу. Новое, ни разу не испы-

танное чувство радостного подъема овладело девушкой — она работает в поле, сеет хлеб! Склоняясь над ящиком, разгребала пшеницу, еще сохранявшую прохладу амбара, погружала в нее руки по локоть, старалась мысленно представить путь каждого зернышка. Вот они попали в землю, проросли, через несколько дней вскинутся зелеными стрелками, будут тянуться вверх к солнцу, пока не зашумит вокруг золотистый разлив колосьев. И в нем будет какая-то, пусть совсем крошечная, частица труда ее, Тани Волошиной!

Сеялки, как лодки, уплывали все дальше и дальше в простор поля. Чупров поднял бородатое лицо, улыбнулся: «Ну как?» Таня подняла руку:

— Все в порядке!

Вскоре подъехали на самосвале с зерном остальные учителя. День прошел незаметно. В глубоких уже сумерках сидели на меже, возле остатков зерна, ждали машину, чтобы поехать домой. Подбиралась прохлада. У Феклы Завьяловой нашлись спички и через несколько минут, разгоняя темень, запольхал костер. Все придвинулись к огоньку. Верочка Кийко глянула на себя в зеркальце и ахнула:

— Ужас, как из трубы! Волосы придется промывать всю ночь.

— Ничего,— заметила историчка Лариса Степановна, протягивая к огню ботинки с огромными комьями земли, налипшими к подошвам,— лучше будешь увязывать уроки с жизнью.

— Танька, хочешь посмотреть на кого ты похожа,— протянула Верочка зеркало подруге. Та замотала головой. Не хотелось поднимать руку, такая истома охватила тело. Ноги продолжали хранить ощущение зыбкой ступеньки. Стоило смежить веки — и перед глазами вставали черные пласты земли, в ушах слышался перезвон дисков. Но и усталость была приятная. И только какая-то легкая грусть мешала. Таня разговаривала с подругами, а сама настороженно ловила каждый посторонний звук. Весь день она провела в этом напряженном ожидании: вот-вот появится знакомая фигура в солдатской гимнастерке, прозвучит чуть глуховатый басок...

Шаги, раздавшиеся в темноте, заставили сердце ее заколотиться: не он ли? Но в розоватом дрожащем свете костра выросла Дашка Лебедева, с деревянной саженью в руках, похожей на большую печатную букву А. Девушка поздоровалась, кинула сажень на землю, присела к костру.

— Ох, устала до смертыньки! И жрать хочется. Ни у кого не осталось кусочка завалящего?

— Смотри, чулки спалишь, стрельнет невзначай искрой,— предостерегающе сказала Фекла Завьялова и протянула девушке краюшку хлеба.

— Спасибо, тетка Фекла. Капрон сгорит, куплю новые, мужа не просить,— ответила Дашка с едва заметной усмешкой.

— Больно уж ты нарядная, девка, для пашни, не жалеешь одежду.

— Оттого и нарядная, что девка. В бригаде живу, а там кругом кавалеры. Надо жениха себе присмотреть.— Дашка разговаривала так, словно, кроме нее и Феклы Завьяловой, никого не было. Но Таня почему-то настороженно ловила каждое ее слово. Ей казалось, что девушка обязательно скажет что-то в ее адрес, и внутренне готовилась к защите.

— Должность у тебя, Дарья, хорошая: знай меряй себе, что другими сделано,— проговорила общительная Фекла, роясь в своей сумке.

— Ужасно ноги гудят от этой должности. Бродишь целыми днями по пахоте, как грешница неприкайнная, в обнимку с подружкой-двухметровкой. Я даже стихи сочинила от скуки:

Эх, сажень, мой друг и враг,
Без тебя я ни на шаг.

Получается, правда, Татьяна Николаевна?

— Не знаю. Я плохой ценитель стихов,— с подчеркнутой сдержанностью ответила Таня.

— Ой, чуть не забыла,— Дашка перестала жевать, загадочно прищурилась.— У меня для вас новость. Только, чур, уговор: за приятное известие с вас полагается. При свидетелях, договорились?

— Я должна сначала узнать, о чем речь.

— Вот, пожалуйста. Никто еще не видел, у поч-

тальяна взяла по дороге, — протянула учетчица сложенную квадратиком газету. Таня, стараясь скрыть волнение, расправила на коленях газету, скользнула непонимающим взглядом. Внимание ее сразу привлек крупный заголовок: «На переднем крае», очерк о Матвее Борзове и фотография, это был он: слегка нахмуренный, точно недовольный чем-то взгляд, сжатые без улыбки губы, темная прядка, упавшая на лоб... Знает Дашка. Специально при всех показала.

— Да вы читайте, — посоветовала учетчица. — И сядьте поближе к огню.

Таня послушно придвинулась с газетой к костру. И с первых строк наткнулась на свое имя: «Молодая учительница Татьяна Волошина и механизатор, демобилизованный солдат, приехавший на целину... Сейчас они пока лишь жених и невеста, но придет осень, ляжет в закрома богатый урожай и тогда...» Видимо у Тани был такой растерянный вид, что Верочка Кийко не утерпела и обеспокоенная глянула через плечо:

— Что с тобой, Танюша? Ты чем-то расстроена?

Таня встала, молча сунула ей газету и, как слепая, пошла в темноту.

Боже, стыд какой! Мало было разговоров о ней в деревне? Откуда пошла эта сплетня?

XIV

В степи весной выдается к полуночи полчаса-час, когда бывает особенно темно. Закат потух, а луна еще не успела взойти. Сумрак кутает землю непроглядной завесой, стоит чуть ослабить внимание — и привычная, столько раз хоженная полевая дорожка потеряется из-под ног. Матвей Борзов не заметил, как сбился с выбранного направления, запах нагретой солнцем земли неожиданно уступил место камышовой прохладе озера. Ведя за собой коня, Матвей осторожно подошел к берегу, присел на кучу сухого камыша, набросанного волнами. И сразу тело налилось усталостью, навалилась дремота. Все эти дни спал он мало, урывками. Лукьянов оказался прав, работа шла на три фронта: пахали целину вокруг озера Аксуат, вели

предпосевную обработку, сеяли пшеницу, и если бы не его подарок, Матвею пришлось бы туго — пешком невозможно было успеть. День и ночь мотался он по степи. Из бригадира приходилось превращаться в механика, из механика — в агронома, а то и в снабженца: ехать на центральную усадьбу, «выколачивать» какую-нибудь деталь, мясо, картошку. От бессонных ночей и забот осунулся, почернел. Обветренные скулы шелушились.

Вялыми, непослушными от усталости пальцами выковыривал он из карманов пшеницу, дробил зубами, чтобы унять сосущую пустоту в желудке: с утра держался на одном куреве. Вместе с зерном на зубы попала табачная крошка, вязкая, отдающая хлебным мякишем жвачка сделалась горькой. Матвей выплюнул ее, прилег на локоть. Озеро смутно угадывалось в темноте. Что-то плескалось за темной стеной камыша. Прислушиваясь к этим звукам, Матвей заснул. Разбудил его утиный крик. Луна медно-желтым диском висела над озером.

«Вздremнул, ничего себе», — подумал Матвей и с нежностью поглядел на жеребчика: умница, простоял столько времени и не потревожил. Черная пригоршней соленую воду, умылся. Про себя решил: «Сначала к сеяльщикам, потом на стан». Пока ехал, рассвело. Тишина, царившая на поле, встревожила его. Трактор с сеялками стоял. Матвей пустил Спутника галопом. По номеру на кабине сразу определил — машина Леонида Волнухина.

Леонид спал, свернувшись калачиком на сиденье, и долго не мог уразуметь, чего от него хотят. Голова его в пропыленной и потерявшей лик кубанке, моталась из стороны в сторону, как тряпичная. Наконец он сел, осоловелыми глазами уперся в бригадира:

— Чего тебе?

— Какого черта стоите? Что за сонное царство?

— А, начальство припожаловало.— Из-за сеялки поднялась голова в рыжей шапке. Позевывая, потирая ладонью подбородок, поросший грязной щетиной, Платон Селезнев ответил за тракториста:

— А что ж еще делать, кроме как не спать? Это

Иисус Христос, так зать, камушками засеивал ниву, да и то еще неизвестно, насколько это верно. А мы не научились. Да у нас тут и камушков не найдешь, поскольку кругом низина...

— Семян нет — и вы преспокойно полеживаете? А если до обеда не привезут, так и будете лежать? — повернулся к нему Матвей.

— Начальство пускай печется, так зать. Нынче его вон сколько: что ни шаг, то генерал.

— Значит, хлеб только генералам нужен? А остальным можно сидеть сложа руки, ждать манны небесной?

— Робим и мы сколько здоровьишко позволяет.

— Робите... Так робите? Это что? — Матвей носком сапога раздвинул траву. Там краснела пшеница, рассеянная во время заправки сеялок.

— А мы не птички божьи, чтобы выклеивать по зернышку, усмехнулся Платон. — Да и еще выяснить надо, кем потеряно...

— Зернышки, говорите? — склонившись, Матвей нагреб пшеницу в фуражку, поднес к лицу Селезнева. — Не слишком ли много для птичек? Если каждый будет проявлять такую щедрость, камушки на полосе у нас вырастут. Это халатность, если не хуже!

— А ты не шибко шуми, паря. Потише, так зать, — отвел его руку Платон. — Я этаких шумливых навидался на своем веку. Командир нашелся. Я ведь в подчиненные к тебе не нанимался. По состоянию здоровья имею полное право, так зать, дома сидеть. А вот не сижу, стараюсь для обчего дела. — Щетинистое лицо Селезнева сжалось от злости в кулачок, маленькие глазки поглядывали из-под надбровных дуг, как два загнанные в норку хорька.

«Стараешься ты, по всему видно», — подумал Матвей, проникаясь неприязнью к этому тщедушному человеку в зимней шапке. Но выяснить отношения было некогда. Он высыпал пшеницу в бункер, стряхнул пыль с фуражки и, как мог спокойно, сказал, занося ногу в стремя:

— Можете уходить. Но вот что, любезный папаша,

сначала вы подберете все до единого зернышка, что тут рассыпано.

С неудач начинался день. На других загонах сеялки тоже стояли. Петр Цупров, успевший сходить на стан, ничего утешительного не узнал. Семян не было. Оставалось одно — искать управляющего. Матвей пока гнал коня до села, весь перекипел — остановить в разгар сева всю технику! Но весь его запал пропал даром. Кудашкина не оказалось ни в конторе, ни дома. Ни одной машины не попалось ему на улице. Только возле магазина рабкоопа стоял грузовик, и человек в синем затрепанном халате не спеша бросал в кузов пустые фанерные ящики. Матвей остановился.

— Куда машина?

— На центральную, отвезти тару. — ответил продавец и, приняв его за покупателя, добавил. — Закрыто сегодня до четырех часов.

— Погоди, — сказал Матвей, — выгружай ящики назад!

— То есть? — продавец от изумления даже рот приоткрыл и тут же, спохватившись, сжал толстые губы. — Не мешай-ка друг, работать. Некогда мне с тобой шутки шутить. У меня из конторы наряд — отправить тару. По разрешению управляющего.

— А у меня сеялки стоят без семян. Понимаешь? И машин нет. Сгружай свою тару! — повторил Матвей, — Или я сам сброшу. Где шофер?

— Завтракать пошел, скоро вернется. Но как же это так? У меня магазин — тоже государственное дело. И я не понимаю, — запротестовал продавец. Матвей, не слушая его, направился к дому, где жил шофер.

Шофер спал в чулане, из-за ширмы торчали измазанные засохшей грязью сапоги, звучал переливчатый храп. На просьбу Матвея разбудить его жена шофера замахала руками и загородила своей дородной фигурой дверь:

— Не буду! Он только вернулся из рейса и опять едет. Едва уговорила прилечь, пока машину нагружают.

— Но поймите, сеялки простаивают, — начал тер-

пеливо объяснять Матвей.— Хотя бы парочку раз обернулся. Случай исключительный.

— Так у него в путевке отмечено: ехать в рабкооп. Да и за рулем он не усидит, если не поспит хоть полчаса, машину разобьет,— стояла на своем женщина.

Неизвестно сколько бы продолжалось это препирательство, если бы не вышел, разбуженный спором, сам хозяин. Он знал Матвея, угрюмо выслушал его и кивнул:

— Едем.

Женщина не отставала от мужа. Втроем они разыскали кладовщика, нагрузили машину. Шофер уже отъезжал от зерносклада, когда по белым от проступившего солонца кочкам затарахтел ходок управляющего. Матвей присел на корточки в тени забора, ждал, пока он подъедет. Пальцы его, достававшие папиросу, дрожали. Нет, не ладилась их отношения с управляющим отделением. Человек этот не нравился Матвею все больше и больше. Внешне Матвей старался ничем не выдать своих чувств, отчужденность копилась подспудно. И только теперь вдруг понял, что объяснений не избежать. Он ждал, что Кудашкин остановит шофера, спросит, почему тот везет зерно. Но управляющий молча пропустил машину мимо себя, выбрался из ходка и как ни в чем не бывало остановился покурить с кладовщиком. Пожаловался на жаркую погоду, на какую-то болезнь, обнаруженную среди телят, и лишь потом, как бы случайно оглянувшись, заметил Матвея.

— А, Борзов, вот ты где! А на тебя, брат, жалобу собираются сочинять. Что это ты там натворил в магазине? Машину отобрал, ящики какие-то, говорят, сбросил в грязь — Кудашкин подсел рядом, с укором покачал головой.

— Никто ящики не выбрасывал, просто помогли их сгрузить,— сдержанно ответил Матвей.

— Но ведь существуют порядки — единоначалие. Машина занаряжена. И вдруг — поворачивай! Признайся, что это партизанщина и, если говорить откровенно, настоящее ЧП.

— А без семян оставить бригаду, это не ЧП? Ты знаешь, что сеялки простаивают третий час?

— Я знаю, что у Пархоменко они не стоят.

— А у меня стоят. И я хочу знать, почему так получилось. Где машины, которые возят зерно?

— Какие были заявки, все выполнено. Значит, сам плохо беспокоился.

Это было что-то новое — заявки. Управляющий прекрасно знал с самого начала, сколько требуется бригаде семян. Матвей не без изумления посмотрел на его спокойное, продолговатое лицо — шутит или всерьез?

— Слушай, единоначальник, что ты за тип? Скажи прямо, задержка с семенами случайность? Создается впечатление, что нет.

— Зря делаешь выводы, Борзов. И сердисься тоже,— Кудашкин подобрал с земли соломинку, сосредоточенно поковырял ею в мундштуке.— По всем правилам я должен на тебя сердиться. Покушаешься на чужую собственность и хоть бы в известность поставил. Не по-товаришески. Вот, смотри,— он протянул Матвею газету. Это был тот самый очерк, который Дашка Лебедева накануне вечером показала возле ковра Тане.

Увидев свою фотографию, Матвей вначале обрадовался, потом смутился и наконец гнев кровью прихлынул к лицу. Как сквозь стену донесся до него голос Кудашкина:

—...Можно было проще сделать, без объявления в печати. Я бы уступил тебе ради дружбы. Не старые времена, из-за женщин на дуэли не стреляются. Только свистни, набегут, какие хочешь. Бывает в жизни: кто бросит, а кто и подымет. Другой из-под ног пятак возьмет и радуется, будто ценность великая. А того не подумает, в скольких руках эта монета побывала до него. У каждого — свое...

«Это он про нее. Так грязно говорит про нее», — пронеслось в сознании Матвея. И тут выдержка покинула его. Левой рукой схватил он управляющего за ворот, с силой тряхнул. Хрустнули пуговицы, слетела щегольская бостоновая кепка. Глаза с зеленоватыми

торчми поставленными зрачками испуганно округлились. Но Матвей уже опомнился, разжал пальцы. Кудашкин шупал поломанные пуговицы, тяжело дышал от пережитого испуга. Оглянувшись, не видел ли сцену кладовщик.

— Я это так не оставлю, Борзов! Оскорбление действием при исполнении служебных обязанностей — за это могут применить статью. Если каждый начнет хватать за грудки...

Бледность медленно сходила с обтянутых скул Матвея.

— В следующий раз обязательно дам в морду, если ты при мне попытаешься лить грязь на человека. Хотя она твоя жена и «собственность», как ты выражаешься.

На обратном пути в бригаду он уже не торопил коня, хотелось побыть одному. Буря в его душе не улеглась. Татьяна Николаевна... Все эти дни он старался не думать о ней. Чужая жена... И все-таки думал беспрестанно.

Весь день ему не работалось, не отдыхалось. Бесцельно колесил по полям, раза три заезжал на стан и наконец уже в сумерках повернул порядочно измотанного жеребчика на знакомую дорогу в Ключи. Ночь, сквозь деревья все так же заманчиво и тревожно светится окошко. Вот-вот, как тогда, появится за прозрачной занавеской знакомый силуэт, дохнет на лампу, темнота залепит окно... Матвей заторопился, толкнулся в ворота. Калитка оказалась запертой изнутри. Во дворе загремел цепью и хрипло залаял пес. Тогда он решился, ухватившись руками за штычки оградки, перемахнул в палисадник.

Таня лежала на кровати поверх одеяла с книгой в руках. Побаливала голова, слегка знобило. Читала рассеянно, больше перелистывала страницы. Услышав лай собаки и шорох в кустах, поднялась, запахнула халатик и подошла к окну. Почти не удивилась, разглядев в темноте Борзова. Матвей стоял на выступе фундамента, навалившись грудью на подоконник. И неотрывно, молча смотрел на Таню. Она стояла, освещенная сбоку лампой, и удерживала рукой отво-

рот халата на шее. Как-то по-новому простой и милой показалась она Матвеем в этом домашнем наряде, с широкими рукавами, в которых были видны не тронутые загаром тонкие руки, с копной светлых и пушистых волос, освобожденных от шпилек.

— Извините, Татьяна Николаевна...— начал Матвей, преодолевая сухость в горле.— Позднее время... И обстановка не совсем подходящая... Но так уж вышло...

— Вы пришли оправдываться?

— Нет. Но, поверьте, моей вины тут мало. Виноват во всем корреспондент. Честное слово...

— Будете писать опровержение?

— Поговорю при встрече... А теперь... Раз уж так вышло... Можете меня выслушать?

— Да?

— Я — коротко. Хотите, сгоняю в сельсовет за секретарем? С постели подыму. Он тоже человек, поймет. Распишемся — и конец всем разговорам.

Таня прижала кончиками пальцев виски, такая вспыхнула в голове боль.

Два человека за всю ее двадцатидвухлетнюю жизнь признавались Тане в любви: бессменный классный староста в педучилище Яша Звонков и Василий Кудашкин. Один сделал это наивно, засунув ей в портфель стихи, аккуратно выписанные на ватманской бумаге чертежным почерком. Второй, правда, обошелся без стихов. Но в том и в другом случае они как бы исподволь, постепенно готовили ее к такому решительному шагу. А этот? Сначала на ходу полуправаком сказал: «люблю», а теперь среди ночи зовет регистрироваться. Тане вспомнился стыд, пережитый ею на полосе, возле костра, и внезапная обида комом подступила к горлу. Так вот бесцеремонно, грубо...

— Послушайте, товарищ Борзов,— сказала она насмешливо.— Вы ко многим обращались с такого рода предложениями?

— Говорю только вам, одной. Вы ответьте — да или нет. И все,— произнес Матвей глухим от напряжения голосом.

— А не рискованно поступаете? Вдруг я соглашусь?

— Я все решил. Передумывать мне нечего,— повторил он еще настойчивее и глуше.

— Ну, а если у меня окажется плохой характер, и мы будем ссориться,— продолжала Таня.— Это очень серьезно — жениться. К тому же...— Она невольно сделала паузу, почувствовав отвращение к самой себе за этот тон, за свою усмешку.— Я ведь была замужем... Для вас найдутся девушки лучше меня. Вы зря торопитесь...

Зачем эта беспомощная виноватая фраза, которая словно навсегда привязывает ее к прошлому? Зачем она говорит об этом? К чему эти чужие, будто взятые из какого-то пошлого романа слова? Боже мой, до чего все запуталось, стало сложным! Неужели прав Яша Звонков, написавший ей в письме: «Ты выскочишь замуж за колхозного деятеля со скуки. А вдруг потом встретишь настоящую любовь. Что будешь делать?»

А у Матвея в душе с каждым ее словом как будто что-то отрывалось. Он глянул на свои сбитые, натертые ремненным поводом руки, на свою пропыленную, пропахшую соляжкой и конским потом гимнастерку. Как бы со стороны увидел всего себя с темным, задубевшим лицом, с острыми скулами, обветренными губами. На лбу — выбившиеся из-под фуражки жесткие прядки волос. Ясно. Матвей молча кивнул, разжал пальцы и спрыгнул в садик.

XV

Василий Кудашкин возвращался из конторы в отвратительном настроении. Его злило все — ухабистая дорога, лай собак, запах кизячного дыма, густо державшийся в безветренном вечернем воздухе. Черт знает, ведь запретил жечь навоз на огородах, долго ли до пожара, так нет, не доходит до людей. Но больше всего был он недоволен самим собой. Обычная уравновешенность покинула его сегодня. Поругался с агрономом, устроил разнос на ферме, наговорил грубостей

бухгалтеру. Последнее особенно делать не стоило — бухгалтер только с виду был человеком тихим и безропотным. Кудашкин хорошо знал причину своей раздражительности. Ссора с Матвеем Борзовым беспокоила его весь день, как заноза. При одной мысли об оторванных пуговицах, он в ярости стискивал зубы. И все-таки директору совхоза ничего не сказал, хотя и встречался с ним дважды. Сейчас он и об этом жалел. А что если Борзов его опередит и разрисует все по-своему, особенно если пожалуется на задержку с семенами?

Занятый своими мыслями, Кудашкин не заметил, как поравнялся с домом Селезневых. Почему пошел этой улицей? Свет в окнах. Кудашкин замедлил шаг. Последняя встреча с Таней убедила его, что примирение невозможно. Но чем дальше уходила от него эта женщина, тем больше влекла, тем желаннее становилась. Нет, надо что-то предпринять как-то защитить свои права.

От окна метнулась тень. Человек попал в полосу света, и Кудашкин узнал Борзова. Пока соображал, как поступить, тот успел перемахнуть через забор. В ночной тишине отчетливо прозвучал стук копыт.

Кудашкин в бессильной ярости ухватился за штатетник, потрянул так, что хрустнули подгнившие столбики.

Дойдя до своего дома, остановился, закурил нервно. Чьи-то легкие шаги заставили его вздрогнуть. Из темноты выступила Дашка Лебедева, блеснула ее белозубая улыбка.

— Добрый вечер, Василий Кузьмич. Вроде как бессонница мучает?

— Чего тебе? — недовольно отозвался Кудашкин, разминая отсыревшую папиросу.

— Мимо шла. Вижу — скучает человек. Вот и остановилась составить компанию.

Кудашкин, чиркая спичками, покосился на девушку. По выражению лица понял — ждала специально.

— Шалаешься, спрашиваю, чего? Почему не в бригаде?

— А что я привязана там? Время ночное, как хо-

чу, так им и распоряжаюсь. Может быть, у меня нужда дома своя, женская. Или свидание. Никто не запретит,— усмехнулась Дашка и с притворным сожалением вздохнула.— Кончилась моя служба в бригаде, Василий Кузьмич, к вашему сведению. Завтра иду на ферму определяться в доярки, поднимать вторую цену.

— Это еще что за новость? Я указаний о переводе не давал.

— А оно и не требуется,— твое указание. С директором договорилась. Да ты что сердишься? Не рад встрече? — Дашка, улыбаясь, приблизила свое лицо.

— Обрадовался, аж в глазах искры.

— Не ту ждал? Ну, жди, жди. Только дождешься ли?

— Дарья...

— Что Дарья? Не правду говорю? Твоя благоверная и думать о тебе забыла. Ноль на тебя внимания. Невестой себя объявила через печать. Да только не твоей...

— Хватит, говорю! — Кудашкин сделал нетерпеливое движение плечом, стараясь отстранить девушку. Но та вдруг прижалась к нему всем телом, обхватила за шею руками и, глядя снизу вверх лихорадочно заблестевшими глазами, сбивчиво, взхлеб зашептала:

— Васенька, выкинь ты ее из головы... Забудь! Ну что в ней завидного? Одни глаза... Или то, что речь у нее городская? Не это человека красит. Можно и слова неправильно выговаривать и быть без образования, зато сердце иметь любящее... Поженемся, Вася! Я для тебя все сделаю! Только скажи... Не пожалеешь. Оба ведь мучаемся...

— Отстань.— Кудашкин сделал попытку высвободиться из объятий, уронил папиросу.

— Вася, послушай,— продолжала в исступлении шептать Дашка,— хозяйство у вас... Аграфене Ивановне одной неподсильно... Я бы всю работу на себя взвалила. Не стала бы тебя горелым хлебом кормить... Поженемся, милый! Надоело так-то, украдкой... Что мы, воры, чтобы любовь прятать? Не посмотрю я, что ты женатый... Не побоюсь пересудов. Босая прибегу

к тебе, присуха ты моя вековечная. Рыженький ты мой...

— Отцепишься ты наконец! — сердито оторвал от себя ее руку Кудашкин. — Нашла утешение, обрадовалась: босая прибежит... Да на кой ты... — он с трудом сдержал ругательство. — Ты еще днем не устрой, смотри, такой спектакль, кидаешься, как умалишенная. Рубашку из-за твоих излияний прожег лапирасой. Предупреждаю — выкинешь подобный номер, получишь по загревку.

— Бей! — встрепенулась Дашка и, чуть подавшись назад, вызывающе подставила туго обтянутую блузкой высокую грудь. — Ударь попробуй. Отвязаться от меня хочешь?

— А я калмыцким узлом к тебе не привязывался. Дело у нас с тобой добровольное, без всяких там веревочек...

— Как же после этого понимать твои слова-напевы? Забыл, какие золотые горы мне обещал? Или, когда нужно, язык повернется в любую сторону?

— Не сочиняй. Ничего я тебе не сулил.

— Но ведь у нас с тобой... Вася... — голос Дашки задрожал на высоких нотах. Она торопливо поднесла руку к горлу, точно боялась, что голос сорвется. — Я не говорила тебе... А теперь, что же получится? Боже...

— Ну, ну, зареви еще. — Кудашкин с опаской покосился на окна, оправил пиджак и, тая в уголках губ циничную усмешку, бросил вполголоса, холодно: — У хорошего хозяина всегда две лошади — одна выездная, другая рабочая, для всяких прочих нужд. Понятно? На том и закончим наши прения.

Поднялся Кудашкин чуть свет. В душном сумраке горницы на ощупь оделся, вышел из дому. Собравшийся с вечера дождь так и не набрал силы, только сбрызнул землю. В прохладном утреннем воздухе пахло прибитой пылью.

Разбитый после бессонной ночи, мрачный, с проступившей на подбородке медно-рыжей щетиной Кудашкин постоял на крыльце и по мокрым приступкам сбе-

жал вниз. Возле колодца долго плескал на лицо и на шею ледяную воду, черпая ее пригоршнями прямо из бадьи. Из сарая вышла мать, маленькая, сгорбленная, как баба-яга. В руках подойник, прикрытый завеской — от дурного глаза. Подозрительно метнула взглядом на сына:

— Готов уже смотаться, наострил ноги. Корову хотя бы отогнал. Или мне на все одной разорваться?

— Угоню, не нойте.

— Вот, вот, огрызайся! Материнское слово, что кость в горле. Плохо делаю, добра тебе желая. Нет, чужие-то этак не скажут. Может, и ласково, да не от души. А у матери каждое слово со слезой да с болью.

Корову он сразу же за воротами перепоручил отогнать в табун соседке. Хмуро шагал по улице, полной разноголосого петушиного пенья. Разномастные дома, которые он знал наперечет, огороды, грейдер. Внешне все так же, и в то же время не так. Многое изменилось в селе. Ох, уж этот совхоз! Кудашкин почувствовал себя обиженным, обойденным, выбитым из привычной колеи. Рухнул весь устоявшийся порядок жизни — из председателя колхоза он превратился в управляющего отделением. Раньше он чувствовал себя хозяином, мог самостоятельно решать вопросы. Его знали в районе как молодого и энергичного руководителя. Несколько раз участвовал в совещаниях передовиков сельского хозяйства, выступал с докладами об опыте работы. Мечтал прогреметь на всю область. И почти уже достиг цели. Начатое им строительство птицефабрики приезжало смотреть большое начальство и целая группа корреспондентов. И вдруг — все полетело. С фабрикой предложили подождать, оказалась дороговатой затеей.

Кудашкин надеялся, что его назначат директором совхоза — но на эту должность прислали Лукьянова. И тут удары по самолюбию посыпались один за другим. Чуть что — нужен приказ директора. Крикнул на рабочего — объяснение в парткоме. Прежде — кто ни показывался в Ключах — к председателю, ночевали у него частенько. А теперь дважды за неделю приез-

жал в совхоз первый секретарь райкома Журавлев — и Кудашкин даже его не видел. Да и что удивляться: в совхозе пять отделений.

Другие люди начали заслонять Василия Кудашкина. И одним из них был Матвей Борзов. И дело тут не только в ревности. Этот недавний солдат как бы олицетворял для него все то новое, в котором он, Василий Кудашкин, мог совершенно затеряться. А теряться он не хотел.

Безотчетная тоска опять привела Кудашкина к дому Платона Селезнева. Несмотря на ранний час хозяин был занят делом, стоя на коленях, примерял новый столбик к поваленному пряслу. На земле белела пахучая березовая щепка.

Завидев управляющего, Селезнев поднялся, приветливо тронул шапку.

— Мое почтение, Кузьмич. Раненько на ногах. Сейчас позоревать в самый раз, так зать...

— Сам что не зорюешь?

— Хозяйство не дает!

Кудашкин сквозь полуоткрытую калитку оглядел двор: широкий, обставленный постройками. В дальнем конце — завозня, рядом амбар под тесовой крышей, каких во всем селе не сыщешь, баня. На огороде — колодец с задраным в небо журавлем, длинные ядовито-зеленые после полива грядки раннего лука. С выгодой для себя использовал в свое время председательскую должность Платон Селезнев: на задворках штабеля строительного леса — на новый дом. Приторговывал он и овощами со своего большого огорода, особенно луком.

— Целая плантация. Небось, уже и выручку подсчитал с базара?

— Какая там выручка,— Платон махнул рукой. испачканной березовой пылью.— Не будет нынче луку: червь напал. Сгубит. Не знаю, что и делать. Я уже к агроному ходил, средства какого спрашивал против вредителя...

— Стараешься для себя. Посмотреть бы, как ты для совхоза радеешь. Почему не в поле?

— Не зря говорится: мелкий комар больше кусает,

а маленький начальник — хуже большого. Прогнал меня с поля бригадир.— Селезнев обиженно сморщился.

— За что прогнал?

— Не потрафил ему, так зать. Слово сказал поперек. Вот и получил расчет. А тут — несчастье, ограду повалили.

— В какое это было время?

— Что?

— Ну, забор когда повалили?

— А не слышал я: уснул, умаялся после утюга. Жена мне поясницу утюгом прогревала от ишиаса. Маятное дело так зать... Устаешь, как после бани. Видать, к полуночи туда, не раньше.

— А конского топота под окнами не слышали?

— Топота? Жена вроде что-то говорила. А что?

— Совпадение такое...— Кудашкин заколебался: говорить или нет? — Борзов здесь был в это время. Верхом.

— Это который? Бригадир?

— Он.

— Может быть, вполне,— согласился Селезнев и забеспокоился:— Что же теперь делать,— заявить? Урон, как ни говори. Взыскать можно. К тому же хулиганство, так зать.

— Не пойманный не вор. А вообще ты за своим хозяйством посматривай: замки купи покрепче,— многозначительно посоветовал Кудашкин.

— Нет, ты смотри какое дело,— качал шапкой озадаченный Платон Селезнев.— Вот и верь, так зать, внешности человека. На словах вон какой идейный, а на деле... Это что же может получиться: сегодня он забор свалил, а завтра! Ох-хо-хо! Ну и времячко подошло. Закуришь, Кузьмич? — предложил подобострастно,— а то бы в избу зашел, ежели не торопишься. Чайку выпьем, так зать.

— Пойду,— сказал озабоченно Кудашкин.— Дела. А ты кончай с хозяйством и чтобы был мне на месте. С бригадиром я улажу.

Мысль, что он как-то навредил Борзову, подняла настроение. Знал, как бы малоубедительно ни выглядела клевета, она пойдет гулять по селу. Пусть попро-

бует учительница объяснить всем, что Борзов лазил ночью к ней в окно, а не в погреб. В приподнятом настроении Кудашкин дошел до конюшни и даже не рассердился, не застав на месте дежурного. Засучив рукава, принялся подмазывать ходок. Пока возился, снимая и надевая колеса, совсем развиднелось. Зеленоватая полоска неба под тучами взялась пламенем, предвещая восход солнца. Тучи потеряли свою угрюмость, нежно розовели снизу. Будто дремавший до этого ветерок заструился упруго и напористо. В воздухе запахло влагой и степью.

На въезде в улицу приглушенно затарахтел мотор. Колесный на резиновом ходу трактор вывернул из-за угла, остановился напротив конюшни. Водитель в замызганной брезентовой куртке окликнул управляющего:

— Эй, браток, на минутку!

Кудашкин с квочем в руке, с которого тоненькой ленточкой стекала колесная мазь, подошел к забору.

— Браток, не скажешь, что-нибудь пожевать можно здесь купить?

— Можно,— ответил Кудашкин.— Газуй прямо и потом налево. Откуда сам?

— Из Степного совхоза.— Тракторист, не заглушая мотора, соскочил на землю, бросил на сиденье куртку и подошел к забору с другой стороны. Белесая солонцовая грязь густо покрывала его сапоги и брюки.

— Где это ты сумел так устряться?

— Дорожные, браток, приключения на целинных коммуникациях. Третьи сутки без сна и без отдыха. Устал, как черт. В желудке космическая пустота. Табачком не угостишь?

Кудашкин покосился на рассеченный застарелым шрамом массивный подбородок, протянул портсигар:

— Кури.

Незнакомец бесцеремонно ухватил грязными пальцами сразу несколько папирос. Одну сунул в рот, а остальные в кепку — про запас. Доверчиво потянулся за огоньком. Закурил, струями выпуская дым из широкого по-утиному носа.

— Сеялки тянул со станции, ну и залез в болото.

Всю ночь протанцевал возле них, крюк сорвал. Решил податься до дому, пусть шлют другую машину. Я загорать на болоте не нанимался.

— Что же одного посылают в такую даль? — сочувственно сказал Кудашкин. — Порядка, видать, маловато в совхозе?

— Порядок везде один: начальство распоряжается, а наш брат, Иван, мантулит. Умные головы зерноград построили, а дорог ни черта нет. Брали бы пример с Колымы. Там тайга медвежья, да горы, а дорожка — будь здоров. Асфальт. Бетон. Закачаешься. Жмешь, аж ветер в ушах. Я, браток, у тебя еще парочку папирос прихвачу. Не возражаешь? Пока тракторист опустошал портсигар, Кудашкин морщил лоб, стараясь ухватить смутно мелькнувшую мысль.

— Слушай, — спросил он, а ты где застрял? В каком месте?

— Да тут, километрах в пяти. Балка такая, лесок — объезд. Если отсюда по грейдеру, то влево. А ты что, знаешь эту географию? Местный?

— Работяга.

— Ну, спасибо, работяга. Встретимся, может быть. Это что за село? Девоч много? А то у нас — дефицит. И пощупать некого. Значит, говоришь, недалеко магазин. Прямо? Ну, бывай, — незнакомец вскочил на сиденье, со скрежетом включил скорость. Трактор рванулся с места, застрелял дымком и покатил, оставляя на дороге рубчатые отпечатки шин.

Распрощавшись с трактористом, Кудашкин запряг жеребца и поехал к тому месту, где остались сеялки. План мести Борзову уже созрел окончательно. «Ты хочешь отличиться, провести сев быстрее всех — значит, можешь клюнуть на этого червяка», — злорадно думал он, мотаясь в ходке на перепаханной травянистой дороге.

XVI

До пересмены было еще далеко, а Леонид Волнухин уже с нетерпением поглядывал на часы. Однообразная и нелегкая работа тракториста тяготила его.

В отличие от своего сменщика Гошки Свиридова, он не находил в профессии сельского механизатора никакой романтики. Новизна впечатлений кончилась для него в первое же утро. Тоска нападала при одной мысли, что весь этот грохот и пыль будут и завтра, и послезавтра, и через месяц. До глубокой осени придется жить в вагончике, без всякой возможности отдохнуть по-человечески, посидеть вечером за кружкой пива, сыграть на бильярде. До приезда в совхоз Волнухин успел переменить десятки мест и ни на одном из них не мог закрепиться сколько-нибудь прочно.

В автобазе легковых такси — последнем месте работы — Волнухин тоже был уже на грани увольнения за допущенную серьезную аварию. Но в это время комсомольская организация базы обратилась с призывом к водителям поехать на работу в село. Леонид первым подал заявление. Директору не очень хотелось отпускать хороших шоферов, и он обрадовался: пусть едет этот. Волнухин и не думал оставаться долго в селе. Правда, планов определенных пока не было, но во всяком случае баранка такси казалась ему теперь куда привлекательнее. Работал он так, чтобы только к нему не придирались. К Гошке Свиридову, восхищавшемуся высокой выработкой Миколы Богаенко, Христиана Шварца и опытных трактористов, относился со снисходительной усмешкой: зелень.

Рыжику после памятных случаев с испорченной пахотой и похищением колеса, пришлось-таки отрубить две смены на прицепе, а потом еще походить за бригадиром, прежде чем тот разрешил ему вернуться на трактор. Зато уж клятвенное обещание исправиться выполнял Гошка добросовестно. Работал, не считаясь со временем, «на износ», как выразился склонный к философским обобщениям Кузьма Демин. Фамилия его на Доске показателей постоянно перемещалась вверх: норма, норма с маленьким хвостиком, с хвостиком чуть побольше...

Гошка в своем усердии даже на пересмену являлся раньше времени. Вот и теперь к немалому удовольствию Волнухина его щуплая фигурка в алой майке

показалась на дороге. Гошка подошел, бросил в кабину брезентовую куртку, которую нес, небрежно перекинув через плечо. Подкладкой кепки вытер изрядно осунувшееся за последние дни веснушчатое лицо.

— Фу, жарко! Как дела, старина? Сколько набил на сегодняшний день?

— Все мое. Зря не прохладился,— лениво ответил Волнухин, потирая ладонью колени.

— А Богаенко знаешь сколько засеял за смену: шестьдесят гектаров! Вот дает!

— Пусть дает: шея у него здоровая.

— Нет, ты представь,— продолжал восторженно Рыжик,— шестьдесят гектаров! Знаешь, что он делает? Время засекает. Один круг столько-то минут и ни секунды больше. Ручных часов у него нет, так он карманные приспособил: повесил на цепке перед глазами. Я сейчас забегал к нему. Ничего хитрого. И мы можем вполне дотянуть до шестидесяти за счет увеличения скорости. Если выгадывать на каждом круге хотя бы по пяти минут...

— А тебе, видать, нагнали духу: стараешься,— с усмешкой прервал его Волнухин,— ну, старайся, по молодости лет тебе это полезно. А мне спешить некуда: норма. И береги здоровье. Давай, принимай «коня». Сдаю в полной сохранности,— он слегка пнул в залепленный землей трактор каблуком сапога.

— Спешешь на ужин?

— Угодил пальцем в небо. Письмо лежит до востребования на почте, хочу смотаться засветло.

Не дожидаясь, пока приятель осмотрит машину, Волнухин стряхнул с кубанки пыль, тут же наспех умылся теплой водой из бачка, привычным жестом вспушил пятерней слежавшийся чуб. Никакого письма до востребования на почте для него не было. Просто нужен был предлог для отлучки в село. Манил уютный домик клубной сторожихи, бабенки-вдовушки, с которой он познакомился на танцах.

Волнухин добрался на попутной машине до села и через час уже был возле дома с одиноким полуза-сохшим тополем. Но ему не повезло: хозяйки дома не

оказалось. Усталый, голодный, Леонид несколько минут ошеломленно простоял на крылечке, разглядывая здоровенный, в полкилограмма весом замок, стороживший дверь. Потрогал, подергал — не откroется ли? Но замок держался незыблемо. «Куда же ее унесли черти? Не нарочно ли убралась?» — кольнула ревнивая мысль. Но он тотчас же ее прогнал. Откуда хозяйке знать, что он заявится именно сегодня? А может быть, отлучилась неподалеку по хозяйству.

Немного приободрившись, Волнухин обошел двор, заглянул в стайку, где тяжело ворочался и стонал огромный боров. Хозяйки нигде не было. Подавленный, вышел он за ворота и, позабыв всякую осторожность, тоскливо смотрел вдоль улицы, мигавшей сквозь сумерки редкими огоньками.

Звук близких шагов вывел его из унылой задумчивости. Волнухин хотел было отступить за воротный столб, но не успел. Подошел Кудашкин в запыленных сапогах, с плащом под мышкой.

— А, Леонид, — дружески протянул он руку, — ты чего тут стоишь?

— Да, вот... Пришел, — замялся Волнухин, не найдя сразу что ответить.

Но управляющий и так все понял.

— Ага, поцеловал пробой — и ступай домой! Бывает. Ксюша у нас особа с характером. В прошлом году двух морячков вот так же мурыжила, — на уборке были — пригласит, а сама уйдет. Потом примет, но обязательно поводит за нос. — Заметив нетерпеливое движение парня, Кудашкин перевел разговор. — Ты, наверное, заправиться хочешь? Пошли ко мне, вместе поужинаем.

Волнухин, обиженный за Ксюшу, хотел было отказаться. Но ноги сами сдвинулись с места.

Дома управляющий усадил его за стол, как дорогого гостя. При виде белого хлеба и исходившего аппетитным паром жаркого рот у Волнухина наполнился голодной слюной. Но эффект стал полным, когда на столе появилась стеклянная бутылка с брагой. Черт возьми, все складывалось не так уж плохо. Волнухин решительно придвинул к себе граненый стакан.

Выпив, долго крутил головой, прижимая к острому птичьему носу ломоть хлеба. Кудашкин лишь глотнул раз и нехотя пожевал корку.

— Вот,— пожаловался он,— есть люди, которые завидуют моей должности. А тут за день так уходишься, что в горло кусок не лезет. Газету почитать некогда, поверишь? Про отдых я уже не говорю. Глаз не успеешь закрыть, а в окно уже барабанят: машина встала или корова на ферме завалилась. Колхозный пережиток — со всякой мелочью к председателю лезть. Кроме того — начальство. В бригаде его не видно, а тут они — все. От того указание, от другого выговор.

Волнухин только кивнул с туго набитым ртом. Брага приятно ударила в голову.

— А ты что же сам? — с благодушным упреком сказал он, показывая глазами на стакан.

— Желудок измучил. Излишняя кислотность. Но ты пей, — Кудашкин взялся за бутылку. — Человека я всегда угостить рад.

— Мне же еще топать вон сколько, — слабо запротестовал Леонид, зорко ждавший, дольет ему хозяин стакан или нет.

— Найдем машину, подбросим. В чем дело? Смена у тебя кончилась. Ну, и порядок. Давай, заправляйся, как следует.

— Ну, если начальство велит, — согласился Волнухин, — то, пожалуйста...

После второго стакана предметы перед глазами Волнухина начали двоиться. Но хмель придал ему смелости.

— Ты погоди! — он фамильярно оглядел тесно заставленную цветами горницу. — Ишь как ты живешь, небось не захочешь как мы валяться в вагончике на нарах. Спишь на пружинном матрасе, как бог.

Кудашкин не обидился.

— В том-то и беда, — задумчиво сказал он, разглядывая стакан, — что до сих пор внимания у нас к механизаторам нет. Пока что от них только требуем, а взамен даем мало. Я имею в виду наш совхоз. В порядочных хозяйствах давно построены полевые станы:

дома, кровати для трактористов — все, как положено. А у нас наобещают ворох, а сделают — горсть.

Конечно, тут виноваты мы: директор, управляющий. Но много зависит и от вашего бригадира. Он почему не требует, не ставит вопросы? Хлопцы у вас хорошие, работают с огоньком, а вот заботы о вас у вашего старшего не заметно. В производство он вникает, хотя и перезабыл многое в армии, но старается. А вот о людях не думает. Ты вот в кои веки вырвался в село и волнуешься как бы поскорее уехать обратно. А сам он, между прочим, бывает здесь почаще. И не только бывает: успеваешь устраивать личные дела. Ты, извини, — Кудашкин, как бы спохватившись, виновато вскинул на собеседника желтые, с кошачьими зрачками глаза, — говорю от души: Тебе, возможно, и не очень приятно, поскольку вы с Борзовым друзья. Но и мне он товарищ. У меня забота, чтобы кадры на нашем отделении удержать. Говорят, он ведет себя солдатски: покрикивает, грубит...

Управляющий зря беспокоился насчет дружеских отношений Волнухина с бригадиром. По существу, их давно не было. Не таким был Леонид Волнухин, чтобы забыть обиды. Сейчас, под действием выпитой браги это мстительное чувство всколыхнулось, он не только не возразил Кудашкину, но и сам принялся поносить бригадира, стараясь подстроиться под настроение собеседника.

— Чуть не забыл, Леня, — сказал управляющий и дружески положил руку на его плечо. — Сделаешь одну штуку, если попрошу?

— С дорогой душой, все, что захочешь! — с пьяной щедростью пообещал Волнухин.

— Да пустяки, сеялки тут надо подбросить. Можно было, конечно, другого послать, но уж раз ты попался на глаза, думаю, сделаешь.

— Какой разговор...

— Сейчас расскажу тебе, где это место. А пока — держи, — и Кудашкин наклонил над стаканом горлышко бутылки.

Как ни старался Гошка Свиридов казаться невозмутимым, внутри у него так и замирало от радостного волнения. Усталый после ночной смены, едва успев наскоро умыться, скромно сидел он на пустом ящике из-под консервов и в нетерпении поглядывал на двери вагончика. Там подводились итоги соревнования, решался вопрос, кому вручить переходящий вымпел. По случаю торжества к стану подогнули тракторы. Машины стояли в ряд, обрызганные утренней росой. Солнце едва выкарабкалось из-за горизонта, и лучи его багрово плавилась на ветровых стеклах. Предвещающая погожий день, взახлеб пели жаворонки. Тут под открытым небом, вокруг застеленного газетой столика, расположились обе смены. Курили, перебрасывались шутками. Кузьма Демин наигрывал на изрядно потрепанном бригадном баяне и вполголоса напевал:

.... Уехал из дому я очень далеко,
 Поезд умчал на восток...
 Но чувства к подруге своей синеокой
 В душе сохранил и сберег.

Музыкант он был начинающий и певец не ахти какой, но его никто не перебивал. Неизвестно кем занесенная в бригаду незамысловатая песенка успела прижиться, и ее чуть не каждый пробовал подбирать на баяне.

К целинному краю, просторам суровым
 Душою привязан я весь.
 И после разлуки с тобою мне снова
 Хотелось бы встретиться здесь...

— Кончай концерт. Идут!

Из вагончика показались Матвей Борзов, учетчик Филипп Кацюра, только что выписавшийся из больницы, и секретарь партийной организации совхоза Умурзак Мамбетов — крепыш, в поношенном голубого цвета кителе и летной фуражке. Мамбетова хорошо знали в бригаде. Чуть живой, латанный перелатанный газик-вездеход, который он сам лихо водил, частенько мелькал по полям. Бывший авиамеханик любил по-

говорить с трактористами, засучив рукава, вместе с ними покопаться в моторе.

Подойдя к стану, Мамбетов снял фуражку и положил рядом с небольшим свертком. У Гошки екнуло сердце: флажки! Для него выпел сейчас означал полную реабилитацию в глазах самого себя, товарищей, Кати. А вдруг припомнят ему историю с колесом?

Гошка многое бы отдал за возможность заглянуть в список, который бригадир держал в руках. Нельзя было что-либо узнать и по выражению лиц. Все трое, даже измученный желтухой Филипп Кацюра, хранили на лице абсолютную непроницаемость. Но вот Мамбетов взял у бригадира список и поднял руку, призывая к тишине.

— Товарищи! На сегодняшнем нашем коротком собрании мы хотим вручить от имени партийной организации и дирекции совхоза переходящие выпелы тем, кто держит первенство на себе, кто добился высоких показателей в работе. Первым в списке стоит фамилия Николая Григорьевича Богаенко — одного из старейших механизаторов совхоза. В прошлом году Николай Григорьевич убрал на комбайне 900 гектаров и намолотил свыше десяти тысяч пудов зерна. На севе он ежедневно дает по две нормы, при высоком качестве работы. В чем его секрет? Я интересовался, — Мамбетов сделал паузу, и морщинки вокруг глаз у него собрались в улыбку. — Нет товарищи, никакого секрета. Он просто сумел правильно организовать свой труд, выжимает из техники как можно больше, дорожит минутами — вот и вся хитрость. Этого вполне может добиться каждый. Ну-ка, Николай Григорьевич, иди сюда! Богаенко поднялся под дружные аплодисменты, подошел к столу, багровый от смущения и, опустив руки по швам, покорно сказал:

— Вот он я...

Мамбетов достал из свертка кумачовый треугольный флажок с золотистой обводкой, протянул ему:

— Поставь на самом видном месте. Впрочем, я сам.

Вдвоем они подошли к трактору «ДТ-54» с цифрой «пять» на кабине, и секретарь партийной организа-

ции укрепил флажок возле пробки радиатора. Алый треугольник расправился и жарко затрепыхал на петру. Микола Богаенко, вспомнив свою службу в армии, подобрался, как в строю, и взял под козырек.

Гошка с замиранием сердца ожидал: кого теперь вызовут? Вызвали Христиана Шварца. Гошке казалось, что все понимают его состояние и смотрят сочувственно. Он сгорбился, опустил голову. Когда вслед за Шварцем назвали наконец его фамилию, не сразу поверил.

Иса подтолкнул сзади, ворчливо сказал:

— Чего сидишь? Ступай, принимать награда. Магарыч готовь, обмывать будем.

Надо было, конечно, сохранить какую-то солидность, не показывать так откровенно своей радости. Но парень шел к столу с такой широкой и счастливой улыбкой, что все невольно переглянулись. И лишь когда Мамбетов протянул ему руку, чтобы поздравить, Гошка посерьезнел.

— Заявляю с этой высокой трибуны,— сказал он торжественным тоном,— что хотя вымпел и переходящий, от меня ни к кому не перейдет. Попытки будут напрасными. Заранее предупреждаю.

Собрание кончилось. Тракторы с грохотом распозались со стана. Гошка имел право отдыхать, но после пережитого волнения сон не шел на ум. Его сменил Волнухин первым выезжал в поле с красным вымпелом на радиаторе. Гошка подошел к приятелю, лениво усаживающемуся в кабину.

— Едешь?

Волнухин промолчал. После вчерашней выпивки с управляющим у него трещала голова.

— Мрачный ты какой-то, Лень...

— А чему радоваться? Достаточно того, что у тебя праздник. Вон как сиял, аж посветлело кругом. Поманили флажком, как ребенкá пряником, будешь теперь лоб разбивать.

— Завидуешь?

— Угадал, только мимо. Я не из того десятка, которые болеют о лаврах. Мой принцип лишь бы гроши, да харчи хороши. А игрушку эту с радиатора можешь

прятать в карман на время моей смены, чтобы не спу-тали, кто из нас передовик. На чужую славу не поку-шаюсь.

— Так ведь нам вместе дали, Лень! Машина-то одна. Чего тут делиться? — запротестовал Гошка. — Поднажмешь — и порядок. Я же тащился позади те-бя когда-то. Побавался даже, как бы вообще по шап-ке не дали... Честное слово!

— Ладно, не агитируй... Задерживаешь. Мне еще надо в одно место смотаться...

— Куда?

— Да, тут... Задание технику подобрать, — неохот-но ответил Волнухин. — Где-то Моховое озеро есть, не знаешь такое?

— Поедем! — обрадовался Гошка, — найдем. Утро такое, в вагончик забираться не хочется...

Моховое озеро разыскали. Волнухин остановил машину в болотистой низине, заглушил мотор и рас-пахнул кабину. В лицо дохнуло солончаковой сыро-стью. Кричали лягушки, в воздухе носились стрекозы, потрескивая слюдяными крылышками.

Гошка с живым интересом оглядел степь. Кругом, как после побоища великанов, торчали вдавленные в грязь, исковерканные и измочаленные березки, неко-торые совсем свежие в зеленом пуху листвы. Глубо-кие, налитые ржавой водой борозды прочерчивали в разных местах переезд. И в этом хаосе, утопая в воде по ступицы, недосыгаемо стояли три новеньких, ко-ричневого цвета тракторные сеялки.

— Хороши штуки, — похвалил Рыжик, — но черта с два их вытянешь. Как они сюда угодили?

Волнухин сам толком не знал, что это за сеялки, и охотно послал бы их к черту, но ему хотелось пока-зать себя перед управляющим человеком дела, уго-ститься когда-нибудь еще за его счет.

— Давай не теряй зря времени. Наше с тобой дело поросыачье: отхрюкал — и в закуток. Приказано на-чальством — делай, — с напускной деловитостью отве-тил Леонид и, преодолев минутное колебание, спрыг-нул на землю. Ноги его по колено ушли в серое месиво.

— О черт! — Волнухин хотел шагнуть и выдернул ногу из сапога.— Ну-ка помоги! Чего смотришь? — зло крикнул он, цепляясь за край гусеницы, чтобы не упасть. Гошка подал ему руку, потом склонившись, достал сапог.

Волнухин забрался в кабину, хмурый, нахохлившийся, как вытщенная из воды курица, размотал грязную портянку.

— Надо их тросом подцепить, а дальше все ерунда, вытянем за милую душу.

— Эх, была не была! Давай-ка я спробую,— предложил Гошка. Он быстро разулся, скинул с себя ватник, брюки и, оставшись в трусах и в майке, покрывшись от холода лупырышками, как молодой огурец, побрел к сеялкам, волоча за собой свивавшийся кольцами стальной трос.

Пока закреплял трос за каждую сеялку в отдельности, весь испачкался в грязи и до крови содрал пальцы.

Солнце по-летнему припекало голые плечи. Гошка пробрался через заросли тальника к чистой воде озера, смыл с себя грязь, и чувствуя во всем теле свежесть и легкость от этого случайного купанья, вприпрыжку пустился догонять трактор.

Километрах в трех от озера, на краю пахоты остановились. По уговору с Кудашкиным достаточно было дотянуть сеялки до первого попавшегося массива, но Волнухин вдруг заколебался: а если раскулачат их здесь?

В бункере одной из сеялок лежали запасные части и чей-то хороший овчинный тулуп. Это совсем встревожило Леонида.

Пока раздумывал, что делать, из-за леска стремительно выскочил трактор «Беларусь», облепленный людьми. На миг машина замерла на месте, похожая на огромного муравья, вдруг наткнувшегося на препятствие, и покатила снова, быстро приближаясь, наполняя воздух стрекотом.

Каким-то чутьем уловив опасность, Волнухин кинулся в кабину, торопливо задержал рычаги. Но запустить мотор не успел.

Трактор, описав стремительный полукруг, замер перед самым радиатором, преградив дорогу. На землю прыгнуло пятеро незнакомых парней. Гошке Свиридову, удивленно стоявшему в стороне, бросился в глаза кривоногий, плечистый коротышка в защитного цвета кителе, пуговицы которого едва сходились на могучей груди. Китель и брюки в пуху, на одутловатом лице — пушистая порось, белесый ежик на голове тоже пушист, как отцветший одуванчик. Глазки маленькие, округло-темные.

Последним прыгнул на землю водитель, высокий, со шрамом на массивном подбородке. Это был тот самый тракторист, который встретился Кудашкину на въезде в село. В совхозе ему влетело за брошенные сеялки и он, дождавшись, пока приварили к трактору крюк, и захватив для подмоги приятелей, вернулся за машинами. Приехав вечером, он всю ночь проблуждал в поисках злополучной низины, а когда утром наконец нашел ее — сеялок там не оказалось.

Измученный бессонной ночью, злой после выговора директора совхоза, водитель едва сдерживал скопившуюся ярость.

— А ну, вытряхивайся, — скомандовал он Волнухину зловеще спокойным тоном. — Беседовать будем.

Опасность, которую Леонид смутно учуял сразу, стала теперь очевидной. Волнухин побледнел, но старался сохранить невозмутимость.

— Чего надо?

— Вылезай, говорю, — повторил незнакомец, — есть необходимость кое-что уточнить.

— А ты покороче. Говори, что нужно. Я и отсюда услышу, не глухой.

— Переговоры через стенку — это несолидно. Куда лучше иметь беседу в непосредственной близости, на свежем воздухе, — водитель улыбнулся вежливо, но глаза его под растрепанными бровями смотрели с жесткой холодностью и шрам на подбородке побледнел.

— Иди к черту, — глухо отозвался Волнухин.

— Ось, дывитесь на него, — громко сказал здоровенный парень, — упер чужую технику и объясняться

не желает. Сильно! Погоди, Павло,— удержал он водителя.— Скандалить не надо. Все выясним без шума. Сдается мне, что цего товарища я где-то бачил. А ну, хлопче, дай подывлюсь на тебя! — Коротыш приподнялся на носках, стараясь заглянуть в кабину.

Как все трусливые люди, Волнухин оказался неспособным определить степень опасности и в слепой боязни за себя первым перешел к нападению. Судорожным движением распахнул он дверцу кабины. Вслед за щелчком замка дверцы возник звук, похожий на удар валька по мокрому белью. Коротыш отпрянул назад. С минуту он стоял, захватив руками лицо, медленно покачиваясь из стороны в сторону в каком-то странном молении. Потом, глухо мыкнув, выпрямился и отнял ладони от лица. Из вспухшего, разбитого сапогом носа струей хлестала кровь, заливала губы, подбородок, крупными, как клюква, шариками, катилась по стянутому на груди кителю.

Гошка оцеленел от неожиданности. Водитель со шрамом на подбородке тяжело дышал, остальные парни растерянно переглядывались, не зная что делать. В напряженной тишине Коротыш рыдающим голосом пожаловался:

— Я же добром хотел посмотреть... А он? Что же это такое, хлопцы? Нас мордуют, а мы будем смотреть? Бей их! — в испачканных кровью руках потерпевшего очутился граненый ломик. Размахивая им, Коротыш вскочил на гусеницу, изо всех сил рванул дверцу. Остальное произошло в один миг. Гошка, испугавшись за товарища, успел перехватить руку с ломиком и сам упал от толчка в спину. Дикая боль сковала все тело.

XVIII

Бывают в мае короткие, стремительные, как шквал, ливни. Кажется и тучи поблизости нет, незаметно сгустится плывущее высоко в небе кипенно-белое облако, подернется синью, огрузнет, и вдруг замелькают в воздухе крупные и тяжелые как охотничий жакан, капли и, точно пробуя силы, раскатисто ахнет гром.

Первый в эту весну теплый и шумный дождь застиг Таню Волошину в роще, на полпути от фермы к селу, когда возвращалась со школьной экскурсии. Кое-кто из ребят убежал вперед, а с остальными она успела спрятаться под березой. Укрытие оказалось ненадежным. Через несколько минут все промокли до нитки. Но дождь прекратился так же внезапно, как и начался. Выглянуло солнце. В вышине над лесом девичьим газовым шарфом чудесной расцветки повисло зыбкое полукружье радуги. Лесной воздух, острый и свежий, напитанный влагой и терпким духом листьев, приятно бил в нос, как опара. Ребятишки разбежались, как цыплята, во все стороны, гулко перекликались в лесу. Таня шла одна по выбитой скотом тропке с большим букетом мокрых полевых цветов в руках и мысленно прощалась с этой знакомой солнечной рощей.

...Вчера пришел ответ от старого товарища отца, к которому она обращалась с просьбой помочь перевестись на работу в город. Перевод возможен, но требовалось ее заявление на имя заведующего Облоно. И она послала. Никто не знал, каких трудов стоило ей это коротенькое в полстранички заявление. Письмо на почту несла с таким чувством, словно это был тяжелый груз. И только после того, как конверт с глухим стуком упал на дно ящика, почувствовала некоторое облегчение. По крайней мере конец всем колебаниям. Весь день она убеждала себя, что именно так и должна была поступить, что старость матери является единственной причиной ее просьбы. А где-то упорно билось сознание: бежит, просто бежит от своих личных неудач...

Тропка вывела на поляну, блеснувшую маленьким озерцом. Очевидно, здесь когда-то брали глину, но потом забросили карьер, и яма наполнилась водой. Березы роняли на зеркальную гладь пестрые тени, сновали по воде во всех направлениях юркие жучки-плавунцы. Таня опустила на корточки, протянула руку, намереваясь поймать жука, и вздрогнула, увидев в воде перевернутое отражение чужого лица. На берегу, утомленно припав плечом к дереву, в мокром

платье сидела Дашка Лебедева. Встретившись взглядом с учительницей, она поморщилась. Голос прозвучал резко и зло.

— Ну, люди... Чего вы на меня уставились? Побить не дают без свидетелей.

Первым намерением Тани было встать и уйти, но что-то в облике девушки насторожило ее, и она, не скрывая тревоги, спросила:

— Что вы тут делаете?

Бескровные губы Дашки тронула вымученная усмешка.

— Топиться хочу. Выбираю откуда лучше прыгнуть. Не верите? А может, за компанию?

Таня не нашлась сразу что ответить и только с опаской покосилась на желтоватые водоросли, которые, как щупальцы, колыхаясь, тянулись из глубины.

— Не бойтесь,— успокоила ее Дашка,— я пошутила. Дураков теперь мало. Я назло всем еще сто лет проживу. Шла вот на работу определяться да по пути задержалась... Последние слова выговорила с трудом, устало уронила ресницы. Но стоило Тане сделать движение, как Дашка вся насторожилась, глаза ее дико блеснули.

— Не подходите! Ступайте своей дорогой! Слышите! Я без вас...— Она застонала, схватилась за живот, судорожно пытаясь спрятать между колен набухший подол платья. Страшная догадка пронзила Таню. Что делать, кого позвать на помощь? В эту минуту по кочковатой лесной дороге застучали колеса. За деревьями мелькнула бричка с молочными бидонами. Таня кинулась наперерез. Возница, древний дед Минаков, в зимней шапке, в заношенной овчинной безрукавке поверх пиджака, увидев учительницу, остановился. Он долго не понимал, что от него хотят. Переспрашивал, подставлял ладонь к заросшему волосом старческому уху. Уразумев наконец в чем дело, старик засуетился, зачмокал на лошадей, сворачивая с дороги, озабоченно приговаривал:

— Ах ты, боже мой, оказия какая! Ко врачу надо незамедлительно. Это что ж приключилось? Не лихоманка? Она, штука известная, скрутит где хошь.

Я знаю, десять годов сам мучился после Средней Азии. Захватил на действительной службе, да так с ней домой и припожаловал. Ох и погарцевала она на мне, потешилась! Полынным настоем только и отбился.

— Скорее, дедушка, скорее! — торопила старика Таня.

Вдвоем они кое-как уложили Дарью на бричку. Дед положил ей под голову шапку, а сверху прикрыл своей безрукавкой. В селе, сдав девушку перепуганной старушке-матери, Таня побежала за фельдшером.

Возле медпункта стояла автомашина. Толпился народ. Ребятишки, как воробьи, облепили оградку, заглядывали в окна. Гудели встревоженные голоса женщин:

— О господи! И что только делается нынче, что творится! — вздыхала бабка в траурно-темном платке. — Бились-то из-за чего? Чего не поделили?

— Машины будто взяли чужие. Кто их поймет.

Таня заметила Верочку Кийко, мокрую, тоже, видимо, попавшую под дождь. Встревоженно тронула ее за руку:

— Объясни, что тут происходит?

Верочка в неподдельном испуге стиснула кулачки под подбородком:

— Такой ужас! Помнишь рыженького веселого паренька? Он еще в клубе после кино басни читал... Так, вот... Его зарезали.

— Кто?

— Хулигаиы какие-то. Драка была в поле. Говорят, и других поранили. Кошмар!

«Драка... в поле...» — соображала Таня, ошеломленно глядя на подругу.

В медпункте, где остро и тревожно пахло эфиром и йодом, тоже толпились человек десять. Гошка Свиридов лежал на клеенчатом топчане, голый по пояс, опоясанный бинтами, неловко привалившись щекой к больничной подушке. Одна рука, по-мальчишечьи тонкая, загорелая, перехваченная в запястье ремешком от часов, беспомощно свисала на пол. Перед топчаном на коленях стояла заведующая медпунктом

Валя Пилипенко, молоденькая девушка в не по росту большом халате и ногтями срывала хрусткую бумажную упаковку со стерильного бинта. От спешки и волнения руки ее дрожали и сама она была бледна не меньше пациента. Валя всего три месяца как окончила медицинское училище и в серьезных случаях страшно терялась. Всех, кто обращался к ней с более или менее серьезными заболеваниями, она направляла в амбулаторию, в райцентр. Сейчас же надо было принять срочные меры на месте самой, и она, обрабатывая рану, чуть не плакала:

— Ну, потерпи, миленький, все будет хорошо, все обойдется. Потерпи немного..

Фельдшеру помогала заплаканная Катя Селезнева, державшая в руках эмалированный таз, полный розовых кусков ваты.

Таня замерла у порога, пронзенная тоскливой мыслью — вот только что человек ходил, дышал полной грудью, звучал его голос, а сейчас он лежит, распластавшись в беспамятстве, и из него вместе с кровью, быть может, уходит жизнь. А тот, что поднял руку на жизнь человека, — кто он? Почему существуют на земле убийцы? Под окнами застрелял мотоцикл.

— Участковый приехал! — объявила санитарка взволнованным шепотом. В сопровождении Платона Селезнева вошел милиционер в забрызганном грязью сером плаще, с полевой сумкой в руках.

— Так... Не можем, значит, без происшествий? Скучно, — и к фельдшеру: — Что тут у вас?

Девушка подняла на участкового бледное, большеглазое личико:

— Состояние больного очень тяжелое. Он потерял много крови. Надо немедленно отправлять в больницу.

— Отправляйте. В чем дело? Транспорт есть? Если нужно — мобилизуем любую машину.

Раненого вынесли. Участковый поднял руку:

— Остальных прошу задержаться. — Милиционер начальственно свел брови, достал из сумки блокнот, карандаш.

— Кто тут Борзов?

— Я.

Это был голос Матвея. Таня только теперь его заметила. Он стоял у окна и, склонившись, зубами затягивал кончики бинта на руке. Рукав его гимнастерки был закатан выше локтя, марлевый бинт казался ослепительно белым на фоне смуглой кожи. Неулегшимся возбуждением веяло от всей его невысокой плотной фигуры.

— Я Борзов,— сказал он, не глядя на милиционера и продолжая возиться с бинтом.

— Ясно...— Многозначительно произнес участковый, разглядывая его.— Тоже, значит, ранение? Сейчас запишем...

К столу шагнул паренек в рваной майке, черные волосы ежиком — Жалел Карымкасов. Заговорил, жестикулируя:

— Зачем писать, товарищ сержант? Какое ранение? Никакого ранения нет. Давай меня спрашивай, я все видел. Расскажу под честное слово!

— А ну, тихо! — повесил голос участковый.— Не на базаре. Вопрос к Борзову. Как фамилия пострадавшего? А того тракториста, который скрылся? Волнухин. Так. Вы лично дали ему указание взять селялки?

— Не давал я ему указаний.

— А как же?

— Не знаю.

— Так. Интересно. Значит, указаний не было?

— Гражданин начальник, прошу слова, как посторонний человек, так зать,— Платон Селезнев почтительно снял шапку, обнажив лысый череп.— Не хотел я вступать, но уж раз хулиганство разбирается, за одним присовокувите...

— В чем дело?

— Прошу учесть претензию мою, поскольку понес я материальный ущерб. Прясло Борзов у меня повалил, и я так полагаю, что лез он в ограду с нечистым намерением. И тут не хулиганство просто, так зать.

Таня не поняла всего — версия о воровстве, распространяемая Платоном Селезневым, не успела дойти до сознания; только почувствовала: сказано что-то несправедливое, безобразное.

Сообщение явно озадачило участкового. Перед тем как появиться здесь, он успел повидать управляющего отделением и с его слов понял: главный закоперщик всего — Борзов. Все же он, как человек новый, решил действовать осторожно: ограничиться кратким докладом, доложить обо всем случившемся по начальству, а там пусть сами решают. Однако заявление о причастности Борзова к какому-то ночному похищению нарушало его план. Тут можно было напороться на неприятность. А вдруг сигнал окажется серьезным, а он не примет мер?

С минуту участковый хмурился над блокнотом, соображая, какое принять решение. Потом поднялся, непреклонным тоном сказал:

— Придется мне вас задержать, Борзов. Прошу следовать за мной. Остальные свободны.

XIX

Старая, исхлестанная непогодой ветряная мельница дышала внутри шорохами. Даже в бездействии, когда латанные-перелатанные крылья стояли, притянутые к земле веревками, продолжался ее неумолчный разговор с ветром. Белые от мучной пыли первобытные валы и шестерни тяжело скрипели. Казалось, вот-вот они заворочаются, заскрежешут изъеденными зубьями и двинут жернова. Шуршали мыши, хлопала отставшая планка на кровле, как-будто под тяжестью чьих-то шагов поддавалась разошедшая лесенка.

Волнухина настораживал каждый звук. Испуганно отрывал он голову от кучки мешков, из которых устроил себе постель, прислушивался, боясь встречи с мельником или с кем-нибудь из жителей села. Второй день после драки из-за сеялок он коротал здесь, мучимый голодом и жаждой.

Когда Гошку ударили ножом, он убежал в смертельном испуге. Им владело одно стремление: уйти подальше, спрятаться. Опомился в лесу, промчавшись без передышки добрых три километра. Как подрубленный, рухнул на землю, ткнулся лицом в прелые листья. Погони не было, не топали позади него

сапоги. Но и эта ничем не нарушаемая тишина казалась подозрительной. Отдышавшись, Волнухин встал и, как сохатый, ломая кусты, кинулся в глубь леса. Весь день и часть долго не потухавшего степного вечера затравленно пролежал он в березняке, поняв, что являться ему сейчас в бригаду нельзя. И хотя у него болела душа о чемодане с вещами, решил — надо отдавать концы. Ночью, как вор, пробрался в село, к дому своей зазнобы — клубной сторожихи. Войти побоялся — за дверью слышался чужой голос. В темных сенях нашарил кринку с молоком, тут же ее опорожнил и вернулся на мельницу. План был такой: дожидаться следующего вечера, выпросить у вдовы харчей, деньжонок на дорогу и махнуть в город, не станут же его разыскивать повсюду.

Днем он, как с наблюдательной вышки, следил за селом. Ближе всего к мельнице стояла свиноферма: длинное оштукатуренное строение с маленькими окопцами. Свиньи один раз не на шутку его перепугали. Волнухин задремал и сразу очнулся: мельница вздрагивала. Два здоровенных, испятнанных грязью хряка изо всех сил терлись боками о бревно, с помощью которого крылья мельницы поворачивают к ветру. Чесались они долго, с наслаждением, а неподалеку сидел на траве белокрысый паренек с веревочным кнутом через плечо и читал книжку. Волнухин потихоньку выругался и снова забился в угол, на мешки. Ему удалось уснуть. Разбудило его солнце. Багровый закатный лучик, пробившись в щелку, приятно пригревал щеку. Леонид прищурился, отодвинулся в сторону и удивленно захлопал белыми от мучного налета ресницами. Над ним склонился Кудашкин. Солнце золотило рукав его светлого пиджака. Во взгляде ни тени удивления.

— А я подумал Чупров заходил да дверь позабыл заложить на чекушку. Он у нас в век коммунизма шагнул: замки не признает. А тут и чекушки нет. Смело ты поступаешь, а если бы кто пустил крылья? Втянуть могло в шестерню запросто, — Кудашкин присел на дощатый кожух с жерновами.

Волнухин, ошарашенный внезапным появлением

управляющего, поднялся с мешков, опасливо покосился на огромное зубчатое колесо.

— Отряхнись,— посоветовал Кудашкин,— устрепал ты себя, как плохой помольщик. Дождичком сбрызнет и будешь весь в тесте. Да-а,— протянул задумчиво и покачал головой,— наломали вы дров, придется долго расхлебывать. Одного увезли в больницу, второй — за решеткой. И это в такое горячее время, когда на счету каждый человек. Не могли пару дней подождать. Кончилась бы посевная, дерись сколько угодно. Между прочим, насчет тебя участковый справлялся. Звонил в контору. Ты, говорят, задрался первый. На, кури...

Волнухин почувствовал на спине озноб. Грязными, нетвердыми пальцами (за два дня ни разу не умылся) взял предложенную папиросу и тут же смял со злостью. Сволочь! Сообщает «приятную» новость: участковый интересуется. Может быть, внизу и милиционер поджидает? Остроносое лицо Леонида сделалось серым.

— Радуюсь? А ведь сам впутал меня в эту историю. «Мог бы другого послать...» Почему не послал? Дурака нашел? Рюмкой глаза залил? По твоей милости прячусь тут, как суслик.

— Не шуми, Леня. Побереги нервишки,— Кудашкин хотел дружески положить руку на плечо парня, но Волнухин отшатнулся.— Шуметь незачем. А насчет истории,— голос его зазвучал резко,— давай так договоримся: с больной головы на здоровую не сваливать. Я тебе ничего не говорил, ты — не слышал. Свидетелей у нас все равно нет. Ну и точка. Скажи лучше, чего здесь высиживаешь? Дождешься темноты, нанесешь визит Ксении и потом ноги в руки?

Да, этот длиннолицый умел угадывать чужие намерения. Волнухин, обезоруженный, сразу поник. За чем-то принялся отряхивать с шапки мучную пыль.

— Для здоровья полезно менять климат. Врачи советуют,— попытался пошутить. Кудашкин, одобрил:

— Правильно. Податься тебе отсюда нужно, иначе загремишь вслед за дружком, а может, и подальше. Переждешь шумиху. За давностью времени не такие

преступления прощаются. Но к Ксюше идти не советую. Язык у нее хуже всякого ботала, разнесет по всему селу.

— Тогда займи мне с полсотни. Верну когда-нибудь,— сказал угрюмо Волнухин. Лицо Кудашкина, казалось, еще больше вытянулось, выражая колебание и нерешительность.

— Да-а, трудная ситуация,— вздохнул он, засовывая руку во внутренний карман пиджака.— По закону я должен сообщить о тебе куда следует, а не занимать денег. Но, уж ради дружбы... На, сколько есть. Бритву хотел купить,— и управляющий протянул Волнухину несколько хрустящих бумажек.

XX

Ретивый участковый доставил задержанного к вечеру в районное отделение милиции. Несколько минут ушло на формальности с дежурным, потом дверь захлопнулась, щелкнул навесной замок, и Матвей Борзов остался в душной полутемной камере. Дико все как-то. Где-то сейчас идет работа, заканчивается пересмена в бригаде, а он должен сидеть здесь без дела. Дорогой, в тряской коляске мотоцикла, как-то не было мыслей. Зато теперь, едва он успел присесть,— навалились раздумья. Перед глазами со всей отчетливостью встали события минувшего дня.

...Матвей с учетчицей ждали у рации начала связи с центральной усадьбой, когда на стан прибежал перепуганный Жалел Карымкасов. От усталости и волнения он не сразу смог объяснить в чем дело, шептал запекшимися губами отрывистые слова:

— Беда... Рыжик там... Очень плохо...

По какому-то незаметному сигналу тревога моментально разнеслась по стану: сбежались босые, заспанные ребята. В один миг с водовозки сбросили бочки с водой. Матвей сам схватил вожжи. Когда-то он любил лошадей. Мальчишкой днями пропадал на колхозной конюшне, дожидаясь, пока ему дадут запрячь смиренного колченогого меринка или стогнать верхом на водопой. Но чисто крестьянское, врожденное чувство

бережного отношения к коню сейчас ему изменило. Он нещадно дергал вожжи и охаживал кнутом привыкших к размеренной езде водовозных одров. В горячке погони разодрал себе руку об какую-то железину. Но в медпункте он слишком был занят мыслями о приятеле, чтобы пускаться в объяснения с милиционером. Гошка, жизнерадостный, веселый Гошка лежал без кровинки в лице, распростертый в луже крови. О сеялках Матвей ничего не знал до последнего момента. Свою непричастность к этой истории не стал доказывать. Есть такое армейское правило: в твоём подразделении — ты отвечаешь. Измышления Платона Селезнева он мог отвести легко — и все-таки не отвел. Промолчал. А ведь достаточно было сказать, что он приходил ночью к учительнице, и подозрение в воровстве отпало бы само собой. Но он не сказал. Ему не хотелось упоминать имени Тани, не хотелось давать повода к сплетням. И хотя прекрасно знал, что придется расплачиваться за свой поступок, не жалел, что так сделал. О себе он почти не думал.

Долго сидел на нарах, полный тяжелых раздумий, потом прилег и не заметил, как усталость и волнения прижали его голову к шершавым доскам. Когда он проснулся, в камере было светло. За продолговатым окном, разлинованным прутьями ржавой решетки, синело утреннее небо.

Матвей лежал на спине, устремив глаза в обшарпанный щелястый потолок, и с минуту как бы приходил в себя, осмысливая обстановку. Потом приподнялся. Рядом с ним на нарах, опустив ноги, обутые в шерстяные чулки и калоши, сидел старичок — такой сухонький и благообразный, точно сошел с рисунка из детской книжки. Его мирный совсем домашний вид поразил Матвея.

Он невольно перевел взгляд на свой разорванный рукав и пыльные сапоги. Старичок сочувственно спросил:

— Руку ушиб, что ли?

— Да...

— А ты подвигайся поближе. Закурим для знакомства, ежели этим балуешься. Табачок у меня — пер-

вый сорт,— протянул полинялый кумачовый кисет. И голос у него был совсем мирный, ни дать ни взять дедушка, отдыхающий где-нибудь на завалинке.

— Яблочками бы угостил, да отобрали все до единого.

Матвей подсел к старику, свернул сигарку.

— Ты откуда будешь, милый? Давно на тебя смотрю. Вечорась не стал тревожить, в расстройстве ты был большом. Набуянил чего, ай-нет? — поинтересовался дед.

— Набуянил,— кивнул хмуро Матвей.

— Ну, это не страшно. Ежели только поскандалил, да никому увечья не причинил, выпустят быстро. Таких-то за три дня перебивало тут десятка полтора, не менее. Который и здесь шумит, а который, как переступит порог, так воинственность с него долой. Тут-то быть мало приятности.

Старичок оказался разговорчивым. Через полчаса Матвей знал его историю во всех подробностях. Житель Алма-Аты, имеет свой сад, привез продавать яблоки и его забрали как спекулянта.

— Спекулянт, а? — укоризненно качал он головой. — Да меня благодарить надо. Попробуй-ка найди сейчас свеженькое яблочко здесь, в случае кто заболел или что? Не найдешь. А у меня оно, как с дерева снято, с пыльцой. А что ежели цена... так кто же в ущерб себе будет отдавать? Свой труд.

Чувствовалось, он привык к подобным переплетам. Работников милиции называл по имени отчеству, одних хвалил, других поругивал. Советовал, как держаться с каждым из них.

— Ты, милый, особливо Ивана Трофимовича остерегайся — лейтенант. Есть такой тут изюм-ягода, все больше вашим братом — буянами занимается. Хоть и вежливый человек, а опасный, так и норовит за жабры поддеть. С ним лучше всего дурачка разыгрывать. Он тебе так, а ты по-своему: виноват, мол, допустил промах по глупости...

Старик еще продолжал поучения, когда в коридоре послышались шаги и потом загредел засов.

— Это Люлькин за обедом собрался. Дурковатый,

а с гордостью. Не хочет сам посуду нести по улице. Каждый раз берет с собой кого-нибудь в чайную. Там для нас пищу отпускают.

Вошел долговязый подтянутый милиционер, окинул камеру хозяйским взглядом:

— Новенький появился? Свободно у вас. Сегодня подселим сюда компанию, чтобы не скучно было. Ну, дед, топаем. А ты приборку сделай,— приказал он Матвею и сердито добавил,— Не у тещи на блинах.

Принесли обед: миску жиденьких щей, перловую кашу и ломоть хлеба. Но Матвей и с этой скудной порцией не справился. Отошел к окну, привстав на носках, смотрел во двор, где белела на солнце куча свеженапиленных березовых чурок. Старик, доедая его обед, укоризненно говорил:

— Зря, милый, пищей гнушаешься. Голодный человек быстрее духом падает. От недоедания же мысли всякие и даже вошь заводятся. Не убивайся. Тюрьма, она как жена, которую не любишь: поперву душу отворачивает, а потом привыкаешь.

— Вы, значит, привыкли?

— Я-то? — переспросил спекулянт, облизывая ложку.— Обо мне нет речи. Лишь бы знать, за что томишься. Когда вины за собой не чувствуешь — легко. Мученический крест нести — наслаждение великое...

Матвей чувствовал себя как в тесном ящике, и когда милиционер вернулся за посудой, почти взмолился:

— Слушай, будь человеком, найди мне какую-нибудь работу. Тут же с ума сойдешь в этой дыре.

Дежурный по-петушиному выгнул длинную шею.

— Это еще что за ультиматум? Может быть, захочешь номер с ванной? Забыл, где находишься? Если будет нужно, заставим сами, без всяких просьб.

— Там у вас дрова напилены. Разреши расколоть.

Возможно, милиционеру самому предстояло это занятие, только он после некоторого сурового раздумья согласился:

— Не положено. Беру под свою ответственность. Смотри, не вздумай драпу дать,— и он красноречиво прикоснулся к кобуре пистолета.

Матвей почувствовал легкое головокружение, выйдя на воздух. Взял в руки увесистый колун, с размаху трахнул по чурке. Пахучие белые половинки разлетелись в стороны. Поставил второй чурбан, снова ударил. Давно не колот он дрова с таким удовольствием. Росла и росла груда пахнувших лесом березовых поленьев.

Ночью он долго не мог заснуть. Болела рука, застоялый воздух стеснял дыхание. Не давали покоя мысли об оставленной бригаде. На следующий день тот же щеголеватый Люлькин повел его к следователю. Старик успел сделать предположение:

— К Ивану Трофимовичу тебя, не иначе. Седьмая дверь у него.

В просторной комнате с ковровой дорожкой на полу сидело четверо. Напротив, у входа, за письменным столом — лейтенант с серебряными погонами, чуть в сторонке, в мягком кресле — пожилой человек в макинтоше и двое на диване, возле стены. Лейтенант Матвею сразу не понравился — казенный какой-то. «За жабры поддевает...» — вспомнились ему слова соседа по камере. Не понравились ему и те двое, что сидели на диване. По измятой одежде, по опущенным взглядам нетрудно было догадаться, что это тоже задержанные. Один — крупнолицый, со шрамом на подбородке — откинулся на клеенчатый валик, второй, опустив между коленями руки, втянул в плечи большую, похожую на пушистый одуванчик голову. На человека в макинтоше Матвей не обратил внимания.

Уловив молчаливый кивок лейтенанта, Матвей присел на стул, возле окна. Створка была распахнута. В садике на обрызганных желтым цветом акациях гудели пчелы. По травянистой тихой и широкой улице брел теленок, волоча за собой веревку с колышком на конце. Грудной женский голос с суровой лаской звал:

— Эдик, иди домой! Слышишь? Что я тебе говорю? Сердце у Матвея тоскливо заныло.

— Борзов! — громко сказал лейтенант.

Матвей встал.

— Имя, отчество? Сколько лет? Место работы? — рука с пером быстро бегала по бумаге, записывая ответы. Лейтенант спрашивал, не поднимая глаз. Вдруг он вскинул голову, кивнул в сторону сидящих на диване:

— Знаком?

— Нет.

— А вы его знаете?

Коротыш с головой-одуванчиком отрицательно замотал головой. Его сосед с минуту разглядывал Матвея и только потом равнодушно отвернулся:

— Первый раз вижу.

Лейтенант позвонил. Дежурный милиционер увел их.

Человек в макинтоше остался. Лейтенант отложил ручку, откинулся на спинку стула и выражение его сухощавого молодого лица стало несколько мягче.

— Ну, Матвей Борзов, рассказывай, что там произошло у вас в Ключах? — Он ничего не записывал, не перебивал, но холодные серые глаза были все время настроже.

— С сеялками ясно, — лейтенант пристукнул ладонью по кромке стола. — А как быть с остальным? Жалоб на тебя много...

— Проверьте.

— Проверим, — согласился лейтенант. — Рука болит?

— Рука? — переспросил Матвей, удивленный переменной разговор. — Ничего...

— Перевяжи. Ну, а пока все.

Матвею казалось, что все, кого он встречал на улице, знают, что он побывал в милиции, обращают внимание на порванный рукав его гимнастерки, на темную щетину, проступившую на подбородке. Особенно испугала его девушка с портфелем, попавшая навстречу.

Что-то знакомое почудилось в ее облике, в светлых пушистых волосах, в легком цветном платье. Матвей поторопился свернуть за угол и безлюдным переулком выбрался на окраину села, к реке.

Единственная в этих местах, бурная во время по-

ловодья степная речка сейчас уже отыгралась. Только ржавая пена вдоль глинистого берега да бело-зеленые жгуты, вскипавшие на стремнине, красноречиво говорили о том, какую мощь несет в себе эта стометровая полоса воды. Под крутым спуском наведен был наплавной мост. Фанерные лодки — понтоны, скрепленные между собой брусьями, подставляли напору воды тупые носы. На ближайшей от берега лодке женщина полоскала белье, чуть дальше сидел с удочкой старик рыбовод. Две маленькие девочки играли на мокром песке. Белели стайки домашних гусей.

Матвей полюбовался с обрыва заречными голубоватыми далями, потом спустился к воде, умылся, вымыл сапоги. Одна из девочек хотела зачерпнуть воды игрушечным голубым ведерком и выпустила его из рук. Течение подхватило ведро, отнесло от берега. Девочка испуганно воскликнула:

— Ой, уплыло!

К ней подбежала подружка и повторила как эхо:

— Уплыло...

Женщина, полоскавшая белье, стала ругаться. А голубое ведро все удалялось от берега, готовое в любой момент утонуть. Матвей быстро стянул сапоги, разделся. Старик рыбовод, наблюдавший эту сцену, предостерегающе крикнул:

— Эй, паря! Ты тут того... Не больно рискуй. Коловерть кругом, несет, как на курьерском!

Холодная вода опалила огнем тело, захватило дух. Каждым мускулом Матвей ощущал упругую, могучую силу потока. Он вскинулся, ухая и отфыркиваясь, размашистыми саженками поплыл наперерез течению, к стремнине. Минут через десять, унесенный далеко течением, Матвей выбрался на берег и побежал назад, распугивая гусей. Отдал обрадованным девочкам ведро, стоя рассматривать на руке мокрый бинт. Подошел старик рыбовод, укоризненно выговаривая:

— А ты бесшабашный, однако. А если бы судорогой свело: тогда как? Какой ты ни есть пловец, а все одно рискованно. Рановато купаться.

Матвей оделся, спросил, где здесь больница.

— Валя, покажи,— сказала женщина. Девочка, та, что уронила ведро, охотно взбежала на обрыв.

В приемном покое больницы, налитом зеленоватым сумраком от подступивших к окнам тополей, Матвея остановила дежурная сестра.

— Вам кого, гражданин?

— Товарищ мой здесь должен быть... Георгий Свиридов.

— Подождите, я узнаю,— пообещала девушка и скрылась за белой стеклянной дверью. В ожидании ее возвращения Матвей рассеянно рассматривал плакаты на стенах, рассказывающие о различных болезнях, и поворачивался на малейший шорох. А звуки тут были тревожные. Вот что-то металлическое звякнуло за стенкой. Может быть, врач положил инструмент, которым делал операцию? Кто-то застонал, донеслись легкие, будто летучие шаги. И запах был особый, больничный. Вспомнился медпункт. «А вдруг»...— билась где-то страшная мысль. Он весь истомился за эти несколько минут и с такой стремительностью кинулся к появившейся в дверях дежурной, что едва не опрокинул бачок с водой.

— Ну, как он?

— Свиридов поступил к нам вчера с тяжелым ножевым ранением — сказала девушка, сурово оглядывая посетителя.— Находится во второй палате. Но видеть его нельзя.

— А если как-нибудь в щелку? Разок взглянуть. Устройте, сестренка!

— Запрещено.— Дежурная даже развела руками в стороны, загораживая дверь.

— Ну, хотя бы узнать, как его... самочувствие...

— Я сказала: доставлен в тяжелом состоянии. Но ему сделали переливание крови. И за ним наблюдает сам Бугаев Петр Федорович — главный хирург. Приходите дня через три.

«Петр Федорович»,— повторил про себя Матвей с каким-то невольным уважением к этому незнакомому человеку. «Главный хирург»! Было ясно, что девушку не убедить.

— Спасибо и на этом, сестренка. Вот, передайте

на всякий случай... Купить что-нибудь... — Матвей достал деньги, положил на стол вместе с одуванчиком, который сорвал возле речки.

При выезде из села возле столба с табличкой: «Степное» томилась в ожидании попутных машин человек десять. К Матвею, севшему в сторонку, придвинулся один — изможденное лицо, сквозь штаны остро выпирают колени. Но глаза поблескивают молодо и живо. Незнакомец вскинул голову так, что кадык на худой шее выпер сучком, с минуту смотрел, прикурясь, в небо. Потом стянул с головы картуз, пригладил стриженные, начавшие отрастать косичками на висках светлые волосы, сказал с восхищением:

— Жарко как, а? Благодать! Наскучался я по свежему воздуху за два месяца. Лег бы так на землю и не шевелился, пусть бы солнышком пригревало. Закурить не найдется, солдат?

Бледный, слабыми пальцами вытянул папиросу из пачки и губы его тронула смущенная улыбка:

— Видишь вот, дрожат. Не набрались сил. А когда-то ими стомиллиметровый гвоздь сгибал в колечко запросто. Сроду не думал, что попаду в больницу да еще весной. А вот угодил, как миленький.

Затягиваясь дымом, он рассказал о себе: тракторист, в конце марта поехал за лесом, угодил в буран, — машину бросать не стал, чуть не трое суток провел в степи легко одетый и захватил двухстороннее воспаление легких. Узнав, что собеседник его из Озерного совхоза, обрадовался:

— Почти соседи! Ну, как ты, давно оттуда? Отсеялись небось. Весна нынче долго тянула, да зато теперь вон как шагает. Тут — поспевай только. Нынче, если организованно посеять, да дождичка в июне хорошего — хлебец будет. Эх, сейчас бы в поле, баранку покрутить... Но не пустят, наверное, придется дома еще поваляться.

Ему не терпелось попасть домой, все время поглядывал на дорогу и беспокоился:

— Машина должна зайти за мной. Не стал ждать. Пошел напрямик сюда. Какую-нибудь перехвачу скорее. Дорога одна.

Матвей же не торопился. Тракториста, выписавшегося из больницы, ждет дома семья. А его? Не все ли равно, вернется он в Ключи сейчас, или через несколько часов?

...Первым уехал парень, хмуро прохаживавшийся по дороге с большой связкой книг в руках. Потом женщина с ребенком. Сел в кабину бензовоза старик, хлопотавший в райцентре пенсию. Через несколько минут показалась еще одна машина. Сосед Матвея, расстроено следивший за ее приближением, вдруг оживился.

— Вроде как наша. Наша, точно! Федька Ченцов! — он вскочил, боясь, что шофер не остановится.

Грузовик затормозил.

— Едем, солдат! Кончилось наше загорание.

Матвей помялся:

— Я потом...

— Давай! Подкинем. Свой парень.

— Спасибо.

— Ну, гляди. А то случай удобный. Бабка, едем, — тракторист помог женщине с мешком забраться в кузов, сам сел в кабину, и грузовик тронулся, заскрежетав сцеплением.

Матвей остался один на обочине дороги.

В милиции его не покидала мысль о бригаде, мучило вынужденное безделье. Почему же он не спешит теперь? Почему остался?

...Матвей родился и вырос в небольшой деревне на Владимирщине. Случайно или нет, но его с детства окружали люди, которые по-разному, с различной степенью умения прививали ему чувство достоинства, внушали, что путь к подвигу открыт перед каждым. И он верил, что свершит его обязательно, этот подвиг.

В школе он увлекался историей, зачитывался книгами из серии «Жизнь замечательных людей», мечтал стать полководцем или мореплавателем. Среди сверстников всегда был вожаком. Организовал из ребят команду «Варяг» и пускался в плавание на старой рыбацкой лодке с обрезком водопроводной трубы на носу, вместо пушки, по реке Клязьме, которая при

всей своей тихости делалась очень опасной во время ветра.

На летних каникулах он работал в колхозе: надо было помогать матери поднимать младших детей. Отец, после тяжелых ранений на фронте, болел несколько лет и умер.

Навсегда остался в памяти последний летний вечер, когда инвалид-учетчик, вернувшись из села в бригаду, привез ему эту тяжелую весть. Матвей всю ночь проплакал, уткнувшись лицом в подушку и натянув на голову одеяло. Но горе его осиротевшего мальчишечьего сердца было все-таки услышано. Уже под утро, когда за шалашом блекли звезды и слезы были выплаканы, шершавая ладонь учетчика-солдата легла ему на голову и рядом прозвучал голос, полный участия:

— Не падай духом, Матвей. Помни, что ты теперь один в семье мужчина, а значит — матери главная опора. Поплачь, не бойся, что услышат тебя: горе большое, и слезы эти святые, их нечего стыдиться. Но так, чтобы потом уже все. Тебе надо жить, а жить слезами нельзя. Трудно придется, но ты гнись, а не ломайся. Стой, как дубок под ветром. Ты это сможешь, я верю. Ну, а сейчас — вставай, поедem хоронить отца...

Матвей тайком, еще продолжая всхлипывать, осторожно под одеялом ощупал свои по-ребячьи жидкие мускулы: слаб. Где уж тут равняться с дубком. Однако с того дня стал упорно закалять себя: брался за самую тяжелую работу, во дворе соорудил турник и в любую погоду ворочал двумя пудовыми гирями, взятыми у колхозного кладовщика. От подушки и от постели отказался, спал по-спартански, бросив на пол кошму и подсунув под голову стопку книг.

Мать приходила в отчаяние, когда он в трескучий мороз выбегал на улицу без рубашки и натирался снегом. Быть во всем впереди стало для него своего рода девизом. В школе учился отлично, хотя и мало кто знал, каких это трудов ему стоило. Ползими ходил он за коровой и колол дрова у многосемейного

нелюдимого старика-землемера для того, чтобы тот подтянул его по геометрии, которая долго ему не давалась.

Из девятого класса пришлось пойти на курсы трактористов. Нельзя сказать, чтобы профессия механизатора сразу его увлекла, но работал он так, что фамилия его не сходила с Доски почета. И в армии, едва освоившись с обстановкой, он стал отличником боевой подготовки. Жалел только, что не попал в пограничники — там можно было бы отличиться по-настоящему. Оставалась надежда совершить подвиг в труде, здесь, в Казахстане. И хотя его очень огорчило, что не пришлось попасть в новый, целинный совхоз, — он уже почти примирился с обстановкой. В конце-концов можно своего добиться и в старом хозяйстве. Он хотел, чтобы его бригада раньше других закончила сев, подняла целину вокруг Аксуата, чтобы имя его и других членов бригады попали на совхозную Доску почета, в газеты. И был уверен, что так и будет. И вдруг все рухнуло.

Всю свою жизнь он ненавидел нечестность. И вот этот грязный ярлык приклеен теперь к нему. В милиции обещали разобраться. Но когда это будет! Да и разберутся ли? А как глядеть людям в глаза? Объяснить каждому, что он вовсе не причастен ни к драке, ни к поваленному пряслу Селезневского дома? Может быть, ребята в бригаде его и поймут. Но как туда вернуться? Управляющий, когда он уже сел на мотоцикл с милиционером, объявил, что отстраняет его от должности.

Была и еще одна причина, мешавшая ему вернуться в Ключи, хотя он старался о ней и не думать. Таня...

Из тяжелых раздумий Матвея вывел звук клаксона. «Победа» светло-серого цвета остановилась на дороге, ослепительно блеснув на солнце стеклами. Щелкнула дверца.

— Эй, солдат, подбросим!

Матвей взгляделся — знакомый светлый макинтош, тот самый человек, что сидел рядом с лейтенантом милиции.

Незнакомец вылез из машины, подошел, протянул руку.

— Мартыненко — директор совхоза «Раздольный». А ты — Борзов? Я тебя видел в кабинете Стручкова. Приехал вот заступиться за своих механизаторов. Да трудов не стоило. Попадется же паршивая овца в стадо, — директор насупился. — А я думал, что ты уже дома. Плохо голосуешь?

— Не спешу.

— Что так?

— Хлеб-соль там не успели приготовить, — усмехнулся Матвей.

Директор оглядел его умными глазами.

— А ты не ездил.

— Как это?

— Семейей не обзавелся?

— Нет.

— Ну и о чем жалеть? Катай ко мне. У нас хлеба для хороших механизаторов всегда в запасе. А ты мне понравился. Чую — хлопец до работы охочий, а развернуться у нас есть где. У нас посева сорок тысяч га. Что там «Озерный»? Бывший колхоз. С техникой повернуться негде. То ли дело наши массивы — простор. ширь, как в океане!

Матвей слышал о «Раздольнэм» — это был один из крупных совхозов района, созданный в первый год освоения целины. Ожила старая мечта. Он заколебался.

— Уехать... А как же документы?

— То — моя забота! Документы мы сами возьмем, — успокоил его Мартыненко, — ты соглашайся. Ей богу, жалеть не будешь. Ну, по рукам, что ли? — И директор протянул Матвею большую, мужицкую, заско-рузлую ладонь.

XXII

Нелегким оказались для Дашки Лебедевой расчеты с первой, краденой любовью. За несколько проведенных в жару и беспамятстве дней ее точно подменили: тихая, осунувшаяся, без кровинки в лице,

лежала она, устремив в потолок взгляд, ко всему безучастная. Лишь когда в доме раздавались шаги—оживала, напряженно прислушивалась. Но это были шаги матери. Старушка, истомленная ее болезнью, садилась рядом, как маленькой, клала ей ладонь на лоб. Жалеючи говорила:

— Забыли тебя подружки, доченька. Так никто и не придет проведать.

— Мне их еще надо заводить — подружек,— с бледной усмешкой отвечала Дашка и, отвернувшись, погружалась в свои мысли.

Может быть, впервые так вот серьезно думала она о себе, пытаясь разобраться в своей беспорядочной и не очень везучей жизни. Кто она? Почему живет не так, как другие? Старается отличиться от всех и даже счастье свое искала не там где нужно. А ведь она была не такой. Как получилось, что постепенно отдалилась она от подруг, точно стала на другую сторону глубокой борозды? И то ли от того, что очутилась одна, сделалась насмешливой и злой. Во всем шла людям наперекор. Жить в деревне, работать, как все ее сверстницы, казалось скучно и неинтересно. Была дояркой на ферме — фотография висела на Доске почета — бросила. Месяца два мыла в конторе полы и бегала за рассыльную. Не понравилось. Напросилась учетчицей в тракторную бригаду, а теперь и оттуда ушла. Почему? Кроме недовольства собой было еще какое-то смутное чувство протеста. Но против кого — не могла понять.

Трудные это были мысли, трудно было лежать в бездействии. Дашке казалось, что стоит лишь подняться, выйти из дому — и все прояснится, встанет на свое место. И она не выдержала. Утром, едва брезжило, встала. Стараясь не шуметь и не тревожить мать, оделась в полутьме, закинула одеялом кровать, опротивевшую за время болезни. Свежесть раннего утра наполнила голову хмельным кружением. Дашка на минуту закрыла глаза, пережидая слабость, потом собралась с силами, спустилась с крылечка и совсем уже отвердевшей походкой пересекла двор, оставляя на росистой траве следы резиновых сапог.

И вот она опять шла через рощу, еще налитую сумраком, и каждый шаг, каждый глоток воздуха, настоящего на березовой листве, точно вливал в нее силы. И только когда уже впереди, за деревьями, завиднелись строения фермы, к сердцу подступила тяжесть: идет, а как там встретят? Не придется поворачивать назад оглобли?

Невольно замедляя шаги, Дашка подошла к домику под влажной шиферной крышей, около дома стояли перевернутые фляги из-под молока. Доярки, ожидавшие в сепараторной ночного пастуха с коровами, как по команде повернулись, едва она открыла дверь. Даже механик, долговязый молчаливый парень Отто Диркс, возившийся с сепаратором, перестал звенеть ключом.

Дашка замерла на пороге, внутренне вся подобралась, готовая к отпору, и только старалась угадать, кто же первый начнет. Все село знало, конечно, ее историю. Уж кого-кого, а ее женщины не пощадят. Она ведь не щадила.

Но, странно — никто не усмехнулся, увидев ее, не уколол. Разглядывали с откровенным любопытством, но ни одна из женщин не бросила обидной реплики. С минуту царило молчание. Дашка поняла, что она должна заговорить первая, и не очень внятно почти одними губами произнесла: «Здравствуйте». Но ее поняли, ответили дружно.

— Проходи, Дарья, — сказала заведующая фермой Наталья Козик и подвинулась, освобождая возле себя место на лавке. — У нас тут вроде собрания. Ахмет задержался со стадом. Вон, — кивнула она на стенные ходики с болтом вмeстр гири, — шестой час, а его все нет. Далеко гоняет, ищет, где трава лучше. Вот мы и думаем: или похвалить его за хороший нагул или отругать за опоздание.

— Налупим его, бабы. Навалимся всем скопом, намнем бока чертяке здоровому. Спит небось на здоровье, — предложила одна из женщин.

— Побить стоит. Разве Кинаят будет возражать.

— А чего возражать? Заработал. Я сама помогу, —

сия белозубой улыбкой, отозвалась молодая казашка — жена пастуха.

Дашка, довольная тем, что разговор ушел в сторону, присела на кончик скамейки у самой двери. С улицы донеслось щелканье пастушьего бича и гортанные выкрики. Кто-то глянул в окно, затянутое марлей от мух.

— Легок на помине! Пошли, бабы, Ахмет явился.

В сепараторной сразу стало тесно. Зазвенели поддойки.

— Огаркова Дуся! Здесь? Не пришла? — спрашивала Наталья Сергеевна, приподымаясь на носки. — Дарья, возьми ее коров. Найдешь их?

— Я покажу, тетка Наталья, — сказала Зина Донцова, торопливо завязывая на рукаве тесемки белого халата. Дусины коровы возле меня. Пошли, — дружески подтолкнула она Дашку, — мы тут пробку с тобой создали в дверях.

Девушки вышли во двор. Пастух Ахмет в брезентовом дождевике, в шапке кружил на лошади, загоня скот. Красно-белое стадо с мычанием вливалось в распахнутые ворота коровника. Таяло в воздухе прозрачное облачко пыли, взбитое копытами.

— Ой, я побегу, — встревожилась Зина, — Лысуха у меня, чуть проглядишь, обязательно убредет куда-нибудь. Ты положи, я скоро.

Переждав толчею, Дашка вошла в коровник, пахнувший в лицо навозной прохладой. С помощью Зины Донцовой привязала коров, принесла флягу под молоко. Подбрав полы халата, присела с поддойником на низенький стульчик. На миг от резкого наклона потемнело в глазах, тупая боль стиснула низ живота. Если бы не теплый упругий бок коровы, упала бы. Корова недовольно переступила, ударила ногой по ведру.

— Эта «Звездочка» вреднющая. С нею осторожнее: может молоко разлить, — как из тумана донесся голос Зины. Дашка стиснула зубы. Ни за что не показывать свою слабость. Ни за что! Пальцами на ощупь ухватила сосок, нажала изо всех сил. Струйка тоненько зазвенела о кромку ведра. Надавила еще раз —

звон отчетливее. Преодолевая головокружение, она уже двумя руками тянула соски. Постепенно звук падавшего молока делался все глуше и глуше: ведро наполнялось. Пальцы будто окрепли. Когда садилась под вторую корову, уже не так кружилась голова, и боль в животе утихла. Все же под конец выбилась из сил, в изнеможении уронила онемевшие руки.

— Устала? А ты не спеши. За Зинаидой не утонишься. Она как ветер.— Голос сочувственный. Оглянулась—Наталья Сергеевна с подойником в руках, невысокая, полная. На спине смешно торчит халат. В глазах — улыбка. Дашка покорно склонила голову. Присматривалась, не подавала виду, а вот сейчас бросит упрек обязательно, с чего это, мол, ты так быстро устала? Тягостное ожидание мешало, молоко выплеснулось мимо узкой горловины фляги.

— Ты поосторожней. С надоем у нас и так неладно, а тут еще на землю,— заметила заведующая. Дашка решительно вскинула бледное, покрытое испариной лицо:

— Тетка Наталья, вы уж сразу скажите, что обо мне думаете! Только не жалейте, не люблю. Какая уж есть — пусть такой и буду. Правду о себе хочу услышать...

— А чего жалеть тебя? — спросила спокойно заведующая.— Или ты калека, богом обиженная? Человек как человек. Руки-ноги есть, работать можешь.— Она как бы для подтверждения своих слов оглядела девушку с ног до головы, и голос ее зазвучал строже. — Не за что жалеть. Мотаться тебе надо бросить с одного места на другое — вот и вся правда. А что касается ошибки в жизни, так от этого никто не огражен. Со всяким может случиться, за это не казнят. Чтобы только ошибка наперед была предупреждением: опять не повторилась когда...

Пауза теперь, прошла дурь.

Ну и все, значит. В другой раз выбирай, как и куда ступать. Приглядываться к человеку надо, ой, приглядываться. И веришь, а все равно смотри в оба. Поверили мы, бабы, очень. С сердцем совладать не можем. Наталья Сергеевна вздохнула, грустно по-

молчала.— Ну, что сделано — назад не воротишь. И горевать-мучиться нечего. Жизнь, вон она, как вперед шагает. И счастье у ней для каждого припасено. Только не открывается оно так-то сразу, побиться за него нужно. В общем, работай. Не пустые у нас тут люди, плохого не бойся. А ежели кто и сболтнет чего по глупости — внимания не обращай. Убегать-то... Не убежишь от нас опять?

— Не убегу, тетка Наталья. Насовсем пришла.

— Вот и ладно. Отдохнула немного? Ступай. Да низко к земле не садись, остудишься,— посоветовала заведующая и, надев дужку ведра на согнутую в локте руку, двинулась по проходу между стойлами, похожая в своем мешковатом халате на санитарку из больницы.

Дашка, как слепая, склонилась над флягой. Первый раз за все дни вдруг заплакала. Но это были слезы не горечи, а облегчения.

Закончив дойку, женщины сдали молоко и веселой гурьбой пошли в село. Дашка нарочно задержалась, ополаскивая под краном подошник. Не смогла все же переломить в себе что-то, пойти вместе со всеми. Из сепараторной вышла последней и тут почти столкнулась с Кудашкиным, разговаривавшим с заведующей. Захолонуло сердце. Хотела пройти мимо, сделать вид, что не заметила, но голос управляющего остановил:

— Дарья, на минутку!

Кудашкин отдал какое-то распоряжение и отошел от заведующей.

— Здравствуй, Дарья. Домой? А я тут хозяйство смотрел, выбрался в кою пору. Давай подброшу попутно.

— Спасибо. Дойду сама.

— В таком случае пешком прогуляемся. Слешить некуда.— Он отвязал от оградки запряженного в ходок жеребца и, ведя его в поводу, пошел рядом. Дорога свернула в лес. По лицам и по одежде запыркали горячие солнечные зайчики.

Шли молча. Лошадь фыркала и звенела удилами, колеса ходка, подпрыгивая, стучали по выправшим

из земли жгутам корневищ. Дашка смотрела под ноги, рассеянно наматывала на палец кончик голубой крепдешиновой косынки. Вот они идут вместе... Еще вчера она ждала его. Ловила с замиранием сердца звук шагов. Не пришел... А сейчас он рядом, но уже нет того чувства. Нет...

Над самой дорогой поваленная ветром дуплистая старая береза свешивала ветки, похожие на кисти зеленой шали. Дашка остановилась, вскинув руки и привстав на носки, стала отламывать ветку. В лицо с листьев сыпались прохладные капли, виднелось сквозь переплет сучьев загустелой синевой утреннее небо. Ветка долго не поддавалась. Кудашкин терпеливо ждал, похлопывая кнутовищем по хромовому сапогу. Когда пошли дальше, спросил:

— Что же — так и будем отмалчиваться?

— А у нас с тобой речи кончились, переговоры обо всем.

— Как здоровье?

— А что нам, бабам, делается? Мы живучие. Посчитай-ка хоть в Ключах — старухи чуть не в каждом доме, а стариков сколько? Дед Петрухин, Иван Кузьмич Дорогов, да еще человека три-четыре от силы. И все. Проверь для интересу.— Дашка натянуто усмехнулась, помахивая сломленной веткой.

— Ладно. Я всерьез спрашиваю,— нахмурился Кудашкин.— Заезжал к вам... Старуха в слезах...

— Вспомнил? Жалко стало? Или, наоборот, недоволен, что на тот свет не отправилась?

— Глупость. От таких дел не умирают. Просто, разговоры на все село...

— Неприятно слушать? А бегать по-кобелиному от живой жены это ничего? Забыл поговорку: любишь кататься, люби и саночки возить. А то что же — под горку хорошо, а на гору — не очень?

— Кончим об этом. Я извиняюсь, если с моей стороны была допущена какая грубость. Кто старое вспомнит... А насчет того, что проведать тебя не приходил, тут по-моему для обиды нет основания. Не знал я. Может быть, я бы еще и воспротивился этому твоему поступку. Так что мы квиты. Хочешь, снова

будем встречаться? Все равно люди языками балабонят.

Дашка остановилась и точно сквозь какую-то плену глянула. Они вышли как раз на такое место, где березы расступились, образуя прогалину. Солнце свободно падало, плавилось на лакированном козырьке фуражки и особенно четко обрисовывало стройную, высокую фигуру управляющего, подтянутого по-военному. Красив! Но как противен он был ей сейчас. Как трудно было стоять с ним рядом, сохраняя спокойный вид. В памяти всплыло озерцо со скользким после дождя травянистым берегом, тряская бричка, стоявшая на коленях перед кроватью девушка-фельдшер. Вспомнились часы мучительных раздумий во время болезни. Искала ответа на вопрос почему сделалась в глазах людей Дашкой-гордячкой? Вот он — ответ, перед ней. Из-за него все. Внушал: не верь никому, все люди плохие. А как отнеслись к ней сегодня на ферме люди? Разве не заслужила она насмешек? Но ведь никто не смеялся. «Будем встречаться»... Чтобы опять все пошло по-старому? Все вернулось? Нет!

Дашка вскинула лицо. В льдистых сощуренных глазах ее разгорался недобрый огонек. Бескровные губы подрагивали.

— Зовешь на роль... Как это ты тогда выразился? «Рабочей лошадки». Уверен, кинусь на шею. А ведь ошибся ты, Василий Кузьмич. Не стану, не жди.

— Это как же рассматривать? Не любила, хочешь сказать?

— Любила. Так любила, что готова была по дурусти за тобой хоть в омут, — призналась Дашка, и голос ее как-то даже ослабел на миг. — Стыд потеряла. Не поглядела, что женатый... Смотрела на тебя во все глаза, да ничего не видела, оказывается. Думала, на тебе пятнышка нет темного, а ты весь заляпан, как рыдван, грязью. Душа у тебя в конопинах вроде сорочьего яйца. По твоей милости я самое себя едва в яму не столкнула, да, слава богу, удержалась на краешке. Но что было — былшем поросло. Хоть больно пришлось, а выполода я эту любовь из себя с корешками, как сорняк из огорода. Так-то, Васенька...

— Слова очень даже проникновенные. Одна придумала или кто помог?

— Было у меня время самой подумать... По твоей милости.

— Виноватых ищешь? Девочка маленькая: обманули. Пряник сахарный показали... Так, что ли? А сама ни при чем. Может, вспомнишь, кто за кем бегал?

— Я все помню.

— Тогда в чем дело? К чему в пузырь лезть. Сердитая ты стала. Видать, пребывание в бригаде прошло не зря. Уж не у Борзова ли набралась воинственности? Не та кандидатура для перенятия опыта...

— А ты порядочного человека не трожь. Он, может, честнее кое-кого.

— Например?

— Думаешь, не видно, какой он у тебя костью торчит в горле? Выжил — и рад.

— Зря ты, — Кудашкин оглянулся, — адвокатом тебе не идет быть. Лучше улыбнись. Женское зло — ненадолго. Посердишься и перестанешь. Какой была, такой и останешься. — Он снисходительно уверенным жестом хотел привлечь Дашку к себе. Но она отпрянула в сторону и молча измочаленным концом березового прута с силой хлестнула Кудашкина по лицу.

Вечером она закончила дойку и прямо с фермы, в чем была, пошла к Селезневым. Только по пути в луже вымыла сапоги.

Хозяйка, цедившая молоко в сених, встретила неожиданную гостью косым взглядом, торопливо прикрыла подойник фартуком.

— Не бойтесь, Ермолаевна, глаза у меня серые — не сглажу. И богатств ваших не высмотрю. Да и небось они за десятью замками, за двадцатью запорами.

— Какие там богатства от стариковских трудов, — нахмурилась Селезнева. — Болтают люди — а ты вторяешь. Какой леший занес тебя?

— Ветром. — Дашка с улыбкой поправила косынку. — К дяде Платону пришла, давно не виделись. Говорят, помолодел, ударно работает. Я ведь теперь потерянная. Интересуюсь кем хочу.

— Дури. О старике-то. Стыда нет.

— Шучу. Кому он нужен, лысый. Учительница дома?

— Дома. Чегой-то понадобилась?

Настороженность в маленьких, утонувших в морщинах глазах Селезнихи сменилась откровенным любопытством.

— Про подлых людей хочу поговорить. Есть у нас еще такие людишки, хотя и к коммунизму идем,— сказала Дашка и прошла мимо оторопелой хозяйки в дом.

XXIII

Ночь Таня проворочалась без сна. Дашка Лебедева, как на исповеди, призналась ей во всех своих грехах. То, о чем только догадывалась, оказалось правдой. Таню не покидало ощущение чего-то грязного и оскорбительного, как плевок.

Но дело было не только в запоздалой ревности. Еще несколько часов назад казалось, что нити, удерживающие ее в Ключах, порваны все до единой. Учебный год кончился. Днем она провела собрание, выдали табели успеваемости, распрощалась с учениками. Оставалось уложить вещи и найти попутную машину до города. И вдруг она поняла, что ничего, в сущности, не решено, надо было за все браться снова, все переделывать. Два человека — Кудашкин и Борзов — опять настойчиво врывались в ее жизнь.

Рассвет уже белел за окнами, начинали вырисовываться лапы акаций, а она ворочалась и перекладывала подушку. Мысли все время возвращались к медпункту. Тогда Кудашкин впервые после их разрыва проводил ее домой. И сейчас она готова была ненавидеть себя за то, что шла вместе с ним и почти поверила его объяснениям.

Заснула она, может быть, на какой-то час, не больше, и встала с твердой решимостью действовать. В доме было тихо. Хозяйка погнала корову в табун, Платон Селезнев в вылинялой синей сатиновой рубашке без пояса и без шапки подметал двор. Солнце едва успело подняться из-за крыш. Прохладная широкая

ть от амбара тянулась до самого крылечка. Метелка оставляла на земле влажные царапины.

Завидев учительницу, Платон приостановился, привычно взялся рукой за спину.

— Раненько что-то, раненько, ай, заботы мешают, так зать? Я вот тоже выбрался, вроде как на физзарядку. Ишнас, будь он неладный. И без дела сидишь —болит, и в работе болит. Когда разомнешься, немножко даже легче.

Хозяин явно собирался пуститься в пространные рассуждения о своей болезни, но Таня перебила его.

— Платон Демидович, скажите, кто же на самом деле повалил у вас изгородь?

— У нас, Николаевна, у нас,— поправил Платон,— вместе живем, под одной кровлей. Значит, и делить незачем на ваше — наше. А насчет прясла, я заявлял. Известно кто...

— Но ведь это неправда! Вы же наговорили на человека. Представили вором. Как не стыдно? А если вас самого привлекут к ответственности за клевету?— Таня, чтобы не сорваться с более или менее спокойного тона, закусил губу.

Селезнев не сразу нашелся. Моргал глубоко посаженными глазками-буравчиками. Потом лицо его вытянулось, черные, изъеденные зубы по-собачьи ощерились.

— Ты, погоди, погоди стыдить, девка. Куда гнешь, так зать? Святым духом, выходит, упало прясло? А может, и в садике свят дух был, а мне невдомек?

— Борзов приходил ко мне,— сказала Таня, выдержав взгляд, полный откровенного намека.

— Вон оно как,— понимающе протянул Селезнев,— старым методом, значит. Через окошко. Ну это неудивительно, ежели мужа нет. Только вот что, барышня, горницу я сдавал не под свидания и не для ночных встреч. Как бы не пришлось наш уговор пересмотреть, так зать...

— Я сама уйду, можете не трудиться.

Таня с лицом, горевшим, как от пощечины, вернулась в комнату, собрала вещи и через несколько минут уже шла по улице с чемоданом в руках.

Верочка Кийко выбежала на ее стук в одной ночной сорочке, босая и заспанная.

— Уезжаешь, Танька?

— Никуда я не поеду. Пусти, пожалуйста, поставить вещи. Я потом договорюсь с Чупровым, у них есть свободная комната.

— Да что случилось?

Верочка стояла в дверях, обхватив ладонями голые плечи. Отношения между подругами были несколько натянутые в последнее время. И Тане не хотелось объяснять подробности.

— Ушла я от Селезневых,— сказала она почти машинально.

Но Верочка сразу целиком стала на ее сторону.

— Давно пора. И как только ты там терпела до сих пор, удивляюсь. Будто хороших людей нет. Это же кулаки. Ради наживы на любые пакости готовы. Как...— Она запнулась, не найдя подходящего сравнения, и порывисто обняла подругу.— Танька, посмотри на меня прямо-прямо. Я же знала, что ты не уедешь. Пожалуйста, не двигай бровями и не пытайся возражать. И что у меня за характер, не пойму,— Верочка вздохнула,— ведь хотела разругаться с тобой, сколько раз решалась. И не могу! А как злилась! Что же это такое, одной и красота и счастье, а другой — ничего. А потом махнула рукой: не стоит нервы портить. Только не подумай, что ради тебя отступила. Очень нужно. Просто человека жалко, он же шею себе открутил, все в твою сторону поворачивался...

Как ни старалась Таня казаться равнодушной, ничего из этого не получилось.

— Вера,— просительно сказала она.

— Ну что, Вера?

— Спасибо, Верочка. Ты хорошая.

— Ладно уж, заходи давай, чего мы застряли в дверях.

— Поставь где-нибудь вещи. Я скоро вернусь.

Кудашкин в одной майке, в калошах на босу ногу выносил пойло кабанчику, когда на улице мелькнула знакомая зеленая кофточка. Управляющий поспешно

оставил ведро с помоями, заспешил к воротам. шлепая калошами. В глубине души возникла надежда — уж не мириться ли явилась жена? И тут же с тревогой подумал: час слишком ранний. Последние дни он все время жил в тревоге. Происшествие в тракторной бригаде не давало покоя. Пока вроде все обошлось, он остался в стороне. Но вдруг что-нибудь всплывет: Платон Селезнев откажется от своего заявления или Волнухина сцапают?

Таня приостановилась возле калитки. Может быть, здесь прямо и начать разговор? Но за соседним плетнем белел чей-то платок, любопытные глаза приникли к щелке, и она, как купальщица в холодную воду, шагнула во двор.

В полутьме пропахших полынным веником сеней летучей мышью навстречу кинулась свекровь, завсхлипывала:

— Проходи, дочка, проходи! Помог господь, одумалась, отошла сердцем. Обойдется все по-хорошему. В молодости-то чего не бывает. Долго ли вам враждовать, людей смешить? И у меня душа изболелась, на вас глядя. Достигли мои молитвы, с утра радость такая, головушка кругом. Василий, самовар вздуй, в погреб сбегай! — Между вздохами и восклицаниями успела распорядиться. — Искусчались мы тут без тебя, заскорузли, голубушка наша. И уж какая ты красивая, нарядная. Ну-ка повернись, полюбуюсь на тебя при свете. Вся точно цветок лазоревый. — Старуха кружила вокруг, согнутая, как баба яга, юркая. Таня с трудом освободилась от ее костлявых рук, прошла в горницу. Знакомая, почти забытая обстановка: фотографии в простенке над комодом, кровать с горкой взбитых подушек. На ковре лубочные олени посреди ядовито-зеленого луга и цветы, цветы в горшках и кадках. Таня взяла с комода разлапистого фарфорового утенка, потрогала осторожно краешек расшитой салфетки. Неужели она жила здесь, и этот тесный мирок фикусов и гераней был ее миром? Чувство шемящей грусти возникло на мгновение и тут же исчезло. Таня поставила игрушку на место, в нетерпеливом ожидании смотрела на дверь. Вошел Кудаш-

кин. Он успел умыться и надеть пиджак. Поставил на стол тарелку с хлебом, достал из буфета стаканы.

— Не старайся,— сказала Таня.— Я не в гости пришла.

— А что? Позавтракаем вместе. В честь встречи не грех даже выпить. Кстати, грузди у нас остались, из тех, что мы собирали за озером. Помнишь? Могу принести, если хочешь.

— Спасибо. Мне нужно поговорить с тобой, Василий.

— В зависимости от того, о чем речь. Если личного характера, то можно и за чашкой чаю. Одно другому не мешает. Надеюсь, ты все же поинтересуешься, как мы тут живем с матерью.

— Скажи,— нахмурилась Таня,— то, что ты мне говорил про Борзова,— это действительно так? И ты ничего не прибавил в этой истории?

Только рука, державшая стакан и на секунду остановившаяся в воздухе, выдала растерянность Кудашкина.

— Что это — допрос?

— Нет, вопрос. И мне хочется, чтобы ты сказал правду.

— Не знал, что так быстро можно переквалифицироваться из педагога в следователя,— усмехнулся Кудашкин. Взгляды их встретились: один прямой и сурово требовательный, другой — с нагловатой смешинкой, уклончивый. Но молчаливый поединок продолжался недолго. Кудашкин отвел глаза. Он струсил. Начиналось то, чего он боялся. С трудом спрятал он свое смятение под маской равнодушия, забарабанил пальцами по клеенке.

— Стороны, как говорится, выслушаны. Что же ты прикажешь мне делать?

Таня стояла, чувствуя спиной острую кромку комода. До самого последнего момента в душе у нее теплилась надежда — а может быть, Дашка в пылу гнева преувеличила что-нибудь в отношении этого человека? Но один этот взгляд, трусливо скользнувший в сторону, подтвердил без слов: все правда. Таня

словно в какой-то безмерной усталости подняла руку ко лбу:

— Приказа не нужно. Ты сделаешь все сам. Пойдешь в бригаду, в контору, куда угодно... И прямо скажешь, что поступил нечестно, недостойно. Если, конечно, способен...

— О любовнике хлопчешь?

— О человеке.

— А я, выходит, не человек? Стулай, взвали на себя чужие грехи, делайся козлом отпущения... Так прикажешь тебя понимать?

— Чтобы ты остался просто человеком в моих глазах, ты должен сознаться в своей подлости,— раздельно, как на уроке, произнесла Таня и вышла из комнаты.

На крыльце старуха попыталась загородить ей дорогу, закричала с явным расчетом привлечь внимание соседей:

— Люди добрые, смотрите! Сношка моя, учительша, в дом заявила со скандалом. Вот они, городские да ученые. Мужа бросила, с трактористами пугается. Ни стыда, ни совести!

XXIV

Завтракали в напряженном молчании. Самовар уныло выводил свою песню, пускал в потолок струйки серого пара. Кудашкин почти не притрагивался к еде. Хмуρο катал в пальцах хлебные шарики. Он уже клял себя за разговор с бывшей женой. Дурак, не сумел сдержаться, а ведь проще было сделать вид, что согласен и готов сделать все, что она требует. Попробуй вот теперь отмалчиваться. Вдруг на самом деле вздумается ей поехать на центральную усадьбу и обо всем там рассказать? Колесо закрутится. Потянут в партком, а то и к следователю.

При одной мысли о подобном обороте дела холодный пот проступал у него между лопатками. Кудашкин ломал голову, стараясь определить, кто это взялся распутывать узелок, и внезапно понял, вспомнив вчерашнюю встречу на ферме,— Дашка!

В бессильной ярости он согнул вилку о кромку стола, кота, вздумавшего приласкаться, так поддел сапогом, что тот, жалобно вякнув, отлетел к печке.

Мать, убиравшая со стола сковородку с остывшей яичницей, сначала только изумленно замотала пригнутой к полу головой. Потом разразилась бранью:

— Ты что же это, окаянный, животину вздумал убивать? Он тебе помеха? На бессловесной твари зло срываешь. Совсем умом рехнулся, прости ты, господи, душу мою грешную.

— Ни черта вашей животине не поделается. Пусть не суется под ноги. Без него тошно,— угрюмо отозвался Кудашкин.

— Тошно ему. А кто виноват? — старуха сунула сковородку назад на стол, и голос ее перешел на злое шипение.— Такой мужчина видный да красивый, а в какое положение себя поставил. Срам смотреть! Под туфлей у пигалицы оказался. Бесчестит она тебя за каждым разом, а ты и словом обмолвиться не смеешь. А все это от того, что с первого дня не взял ее в руки, недаром люди говорят: «Люби жену, как душу, трясина ее, как грушу». Небось она, культурная-то, не побоялась в дом к мужу явиться, свекровь-калеку обидеть. Видал, как она меня швырнула — чуть об угол не расшибла. А ежели за такие дела, да в ссльсовет пожаловаться...

— Пойди, пожалуйста. Там тебя ожидают. И вообще, довольно! Из-за твоего нетерпимого характера, может, все и вышло, жизнь моя семейная расклеилась. Суешься во все дырки вместо того чтобы на печке сидеть да помалкивать.

— И тут, значит, моя вина? А сам свят духом: чистый да непорочный, агнец господний. А чего тогда женушка от тебя допытывала, о чем была речь? И про Дашутку Лебедевскую что люди говорят, не знаешь? Да ты рыло не вороти, а в глаза мне взгляни, кобель непутевый! От тебя, подлеца, хоть золотая жена убежит...

Мать перешла в наступление. Останавливать ее было напрасной тратой времени. Кудашкин отпихнул от себя стол, поднялся, на ходу сорвал с вешалки

фуражку и брезентовый плащ. В дверях, позабыв наклониться, с размаху ударился лбом о притолоку и ошалело выскочил в сени.

На конном дворе старик-конюх Игнат Портнов вывел по его требованию из-под навеса серого выездного жеребца. Конь был обсыпан сеной трухой и выглядел утомленным.

— Что это с ним? Не следишь, дрыхнешь, наверное, целыми днями,— недовольно заметил Кудашкин, принимая из рук конюха повод.

— Годы мои такие, что не грех и поспать иногда,— в тон ему ответил Игнат.— А вот Серку передыха нет, потому как из хомута не вылазит.

— Кто про Фому, а кто про Ерему. Чистить нужно. Овес есть?

— Куда ж он подевался? Есть.

— Насыпь с полпуда. Быстро.

Кудашкин сам запряг коня, втолкал под сиденье мешок с овсом, усаживаясь в ходок, кинул сторожу:

— Скажешь — на полях. Раньше вечера не вернусь. Да подмети двор. Лодырничаете, а тут черт ногу ломает.

Коня он пустил вскачь едва выехал за село и продолжал нетерпеливо подергивать вожжами и помахивать кнутом. Быстрая езда, свежее травянистое дыхание утренней степи, солнце, высоко и жарко всплывшее над горизонтом, несколько успокоили его, привели в порядок мысли. Okрепло теперь окончательно еще дома за столом возникшее решение: ехать на центральную усадьбу. Поговорить с директором, с секретарем парткома, если потребуется, махнуть в райцентр. Но главное — успеть опередить, рассказать где только можно: так и так, мол, бывшая жена — аморальный человек, бросившая семью, — собирает сплетни, хочет очернить его, подорвать авторитет перед рабочими. И ему поверят. Никто не станет впутывать его в эту историю с бригадиром тракторной бригады, тем более, что Борзов-то не вернулся в совхоз. Дезертировал, значит — совесть нечиста.

На машине можно было добраться до центральной усадьбы совхоза быстрее. Но Кудашкин не хотел, что-

бы увидели, куда он едет. Нарочно свернул в одном месте к трактору, досевавшему подсолнухом небольшую полосу. Потом задержался с девочками, везшими в бричках-бестарках кукурузные семена.

Проколесив таким образом с полчаса для отвода глаз, он выехал на грейдер, ведущий в Озерное.

Занятый своими мыслями, не обратил сразу внимания на грузовик, стремительно настигавший его сзади. Но спокойный обычно жеребец вдруг дико закосил глазом, вспыхнул и метнулся в сторону. Хрястнули оглобли. Ходок наклонился набок, пополз в налитый водой кювет.

Кудашкин успел соскочить на землю, яростное ругательство застряло у него в горле. В кузове грузовика среди мешков и ящиков мелькнула знакомая зеленая кофточка Тани. Прощально вскинулись на ветру кончики пестрой косынки,— и все это пронеслось мимо, исчезло в пыльном вихре.

Кудашкин до хруста, до судороги в скулах стиснул зубы. Кошачьей поступью, осторожно перебирая руками вожжи добрался до уздечки, вцепился в нее рукой возле самых удилов, размахнувшись изо всей силы, с каким-то наслаждением ударил кнутом по трепетному конскому храпу. И потом все ожесточеннее хлестал обезумевшего от боли и страха жеребца, пока не сломалось крепкое березовое кнутовище.

XXV

Купанье в реке и ковш ледяного квасу, выпитый после бани у директора совхоза «Раздольный», не прошли для Матвея Борзова даром. Наутро едва мог оторвать голову от подушки. Болело горло, слабость сковывала тело. Совхозный врач, посланный Мартыненко, признал ангину.

Матвей лежал в гостинице один. Половину домика занимала семья шофера. За тонкой переборкой дважды в день возникали признаки жизни: рано утром, когда хозяева собирались на работу, и вечером. Жена шофера заведывала гостиницей и еще работала где-то в саду. Она успевала приготовить завтрак для жильца, чаще всего глазунью и молоко, осторожно

ставила все это на тумбочку, и через минуту ее белый платок мелькал за окном.

Мысль, что люди идут на работу, спешат каждый к своему делу, а он вынужден лежать, тяготила Матвея. Он как мог старался убить время: перечитывал старые журналы, скопившиеся в тумбочке, исправил репродуктор и взялся было за ходики, безмолвно висевшие над кроватью, но в них не оказалось доброй половины механизма. Временами Матвей бывал даже рад своей болезнью. И не оттого, что здесь окружал его почти домашний уют и можно было в первый раз отдохнуть и отлежаться за всю весну. Но что-то оставалось у него недодуманным и нерешенным. И сейчас можно было не спеша додумать и решить.

Комната выходила окнами на площадь. Если приподняться на локте, виден зеленый разлив молодого парка — ровесника совхоза. Деревца почти заслоняли дома на противоположной стороне площади. Виднелись только крыши. Выше других вздымалась светлая гора из шифера — кровля ремонтной мастерской. Отчетливо были видны многометровые красные цифры на ней: 1957 год. Тут все было новое, недавно построенное, не успевшее потемнеть от солнца и непогоды. Жена шофера, приехавшая в совхоз к «первому колышку», сказала, что на месте гостиницы стояла когда-то палатка девушек, и на Матвея пахнуло романтикой первых дней освоения целины. Эх, если бы он попал сюда месяца два назад... Но сейчас на душе лежала тяжесть. Порой сам не мог понять, отчего валяется на кровати в пустой гостинице совхоза: от болезни или от плохого настроения. Особенно томили дневные часы. Погода стояла жаркая. К полудню солнце выбиралось из-за крыши, в окна дышало зноем. Глянцевые листочки тополей переставали плескаться на ветру. Все точно замирало, даже репродуктор на площади умолкал. Оживление начиналось с наступлением вечера. Первыми высыпали на улицу ребятишки, истомленные жарой. Хлопал волейбольный мяч возле двухэтажного дома, где жили рабочие-строители. Мычали коровы, возвращаясь с пастбища. Хозяйка гостиницы гремела в сенцах ведрами — соби-

ралась по воду. В облаке пыли стремительно пронеслась серого цвета «Победа» — это возвращался директор совхоза после объезда тракторных бригад, разбросанных на огромном степном пространстве.

Мартыненко не забывал нового механизатора, заходил, справлялся о здоровье. По его распоряжению Матвею принесли со склада новенький комбинезон и очки-окуляры для защиты от пыли. Вот и вчера — сумерки уже густели, когда «Победа» подкатила к гостинице и в дверях выросла массивная фигура директора совхоза.

— Ну, как наши дела, солдат? Выздоровливай быстрее. У нас болеть не положено — климат степной, здоровый. Летом жара припекает, зимой морозец может поприжать. Вот захватил для тебя лекарство. Если ты настоящий хлебороб — обязательно подействует.

Мартыненко присел возле кровати, вытащил из кармана небольшой сверток, развернул его. На газете лежал рассыпчатый земляной кубик, густо шетинившийся голубыми стрелками всходов пшеницы.

— Чуешь, какой хлеб прет в «Раздольном»? И это на сорока тысячах гектаров. А что там «Озерный»? Да там и посев-то весь не больше семи-восьми тысяч...

Матвей осторожно дотронулся пальцами до бархатно-нежных стебельков, и точно заноза вошла ему в грудь. Всю ночь и теперь не мог найти себе места. Комната казалась клеткой. Не хватало воздуха. Наконец он не выдержал. Отшвырнул журнал, размотал марлевую повязку на горле, встал, в ногах чувствовалась слабость, но голова уже не болела. Он оставил на столе записку хозяйке гостиницы, закрыл дверь на щеколду и вышел из дому.

В конторе совхоза — прохладная тишина. Сидят одни бухгалтера. Щелкают косточки счетов. За дверью директорского кабинета заливаются безответно телефон. На грейдере против конторы остановился грузовик. В кузове — мешки, ящики. Шофер — муж хозяйки гостиницы — забежал в бухгалтерию оформить накладную. Матвей к нему:

- Не в бригаду?
- Везу продукты.
- Подбрось во вторую.
- Выздоровел?
- Уже...
- Ну, садись.

Выехали за поселок. В кабину бил упруго встречный горячий ветер. Дорога шла между посевами. По обе стороны от нее, насколько хватит глаз, расплеснулись массивы — вблизи светло-зеленые, чуть подалее — голубоватые, вдали — дымчатые, как поверхность моря в штиль. Марево на горизонте было похоже на реку. Шофер, положив на баранку жилистые, забронзовевшие руки, жаловался:

— Дождя надо, а его нет. Вылилось, выдать, все до капли осенью: день и ночь хлестало. Недельки две продержимся, а там туговато придется. Это у нас поля первой бригады, — пояснил он. — Вторая начнется километра через три. Но между прочим: земля везде одинаковая и обработка тоже примерно. Боямся, как бы нам сорняки еще дело не подпортили. Весна затянулась, прорасти они не успели, а теперь попрут.

Шофер не хуже агронома разбирался в посевах. Матвей слушал его с напряженным вниманием, но думал о Ключах. Если здесь нужен дождь, то как же там, на солонцовых землях, которые они распахали?

Впереди показалось озеро. При виде его буро-зеленой камышовой чаши у Матвея заняло сердце. Вспомнился Аксуат. Подумал, вот сейчас машина минет увал, и вдалеке знакомо зазеленеет бригадный вагончик, высыпят навстречу ребята... Но увал переехали, а вместо вагончика показались дома, аккуратно побеленные, с деревцами перед окнами, с мачтами радиостанции. Матвей сразу отметил строгий, почти армейский порядок во всем. Машины составлены в ряд, место заправки горючим огорожено, ни одна бочка не валяется. Курилка, как в армии: с грибком из досок, с вкопанными вокруг столба скамейками.

Все стало понятным, едва показался бригадир, сероглазый, плечистый крепыш. Из-под комбинезона выглядывала полосатая тельняшка: моряк. Познако-

млись. У бригадира оказалась звонкая фамилия-Соловьянов Олег, старшина второй статьи. Уволенный в запас весной прошлого года, корабельный моторист, судя по всему, успел прочно обосноваться на целине. Матвей рядом с ним показался самому себе жалкой фигурой. Ограничился сообщением: кто и откуда.

— Знаю,— сказал бригадир,— ждем. Директор говорил. Но машина — колесник. Предупреждаю сразу. А то у нас тут претензии бывают, все хотят на гусеничный.

— Мне безразлично.

— Добро,— кивнул моряк с явным облегчением.— Машину можешь принимать. Сев мы кончили, ведем обработку паров. А сейчас я покажу твое место, располагайся, отдыхай. С утра начнешь.

Они вошли в дом. Матвея и тут удивила корабельная прибранность: в коридоре вешалка для одежды, зеркало, в спальне — хорошие кровати, заправленные одеялами, на окнах — шторы. Несколько человек спали. Свернутая одежда лежала на стульях.

Матвей вспомнил свой вагончик: тесно, убого. Не зря расхваливал директор «Раздольного» свой совхоз. «А можно и у себя сделать так же. Потребовать второй вагончик, устроить душ с горячей водой, приучить ребят к чистоте», — с хозяйственной озабоченностью прикинул Матвей и тут же усмехнулся: «А где это «у себя?» Вслух похвалил:

— Богато живете.

— Пробуем. Боремся за звание бригады коммунистического труда,— сказал Соловьянов и положил руку на никелированную спинку кровати.— Ну вот, можешь здесь пришвартоваться: твоя.

«Явился на готовенькое, выбрал, где полегче», — подумал Матвей с горечью. Присел возле кровати, зачем-то потрогал сетку. Ему даже страшно сделалось: опять лежать.

— Слушай, старшой, можно я займусь своим колесником?

Трактор «Беларусь» оказался изрядно подержанным. Матвей остаток дня провозился возле него: чистил, регулировал. Работать выехал в ночь: таскал

культиватор. Ночью было хорошо. Напитанный зноем воздух остывал. Пахло горячей землей. Бвлькали перепела. Стоило приглушить мотор, как эта перекличка сливалась в сплошной хор.

Матвей, впрочем, останавливался редко: только если долить воды, вытаскать траву, набившуюся между дисками. Работа помогала ему забыть. Приятно было ощущать под собой напряженную дрожь машины, сжимать руками рубчатое рулевое колесо. Совершенно невероятной казалась мысль, что он мог сейчас лежать где-то в постели и не чувствовать за собой никаких обязательств, кроме глотания таблеток.

Ночь прошла. Едва на какой-то час-полтора пришлось включить фары. А там небо снова зазеленело, и по нему широко начал разливаться румянец, предвещающий новый погожий день.

Когда Матвей после смены шел на стан, усталый и довольный, солнце, поднявшееся из розовой пены, уже припекало горячо.

После завтрака, укладываясь спать, он услышал за стеной в красном уголке голоса бригадира и учетчика. Учетчик говорил о нем:

— А солдат работает хорошо. Проверил я: ни одного огреха, и выработка высокая с первого раза.

Ответа Соловьянова Матвей не разобрал: усталость сломила, он закрыл глаза и моментально уснул.

На следующий раз бригадир пришел к концу смены на загонку сам, походил по пашне, посмотрел. Угостил папиросами.

— Ну как колесник?

— Бегаёт. Клапана малость постукивают.

— Слушай, солдат,— Соловьянов пытливо вскинул на Матвея серые глаза: — Хочешь на повышение? Помощник у меня заболел: мотаюсь один, как выпел. А ты, я вижу, дело знаешь.

Предложение было лестным. Но что-то помешало Матвею ответить согласием. Странно как-то чувствовал он себя в эти дни. Работал с увлечением, но мысли были далеко отсюда. Из головы не шла своя бригада: заносит учетчик на Доску показателей мелом выработку — кажется, это Филипп Коцюра; мелькнет

на кухне платье поварихи — сердце обрывается — Катя. Эти мгновенные ошибки как в яму бросали Матвея. Он испугался, что новая должность привяжет его здесь навсегда.

— Покручу баранку для практики. Отвык за три года, — сказал он уклончиво.

— Ты подумай. С директором я договорюсь, — посоветовал Соловьянов.

В этот день впервые на выкаленном зноем небе появились тучи. Они росли и рушились, как огромные бело-лиловые башни. Наконец тучи слились воедино и стали стремительно надвигаться в грохоте, в росчерках молний.

Потемнело. Запахло влагой, как на берегу озера.

Матвей дремал, когда могучий удар грома потряс дом. По железной крыше, точно пробежал кто-то стремительно. Крупные капли с силой хлестнули в окно, и на землю с шумом и плеском обрушился ливень.

Все, кто отдыхал после смены, повскакивали, босые и раздетые столпились в дверях. Гроза словно обмыла степь. Свежо и густо зеленели посевы, пашня казалась залитой черной тушью. Миллиардами огненных бисеринок сияла трава. Сонливость с Матвея как рукой сняло.

К стану, оставляя за собой пудовые ошметья грязи, подполз знакомый грузовик — развозчик продуктов. Шофер вытащил из кузова мокрый мешок с картошкой.

Матвея вдруг осенило:

— На центральную?

— Если доберусь.

— Я с тобой.

Когда подъехали, в поселке уже перемигивались огоньки. Матвей кинулся на почту.

— Девушка, можно вызвать совхоз «Озерный»?

Дежурная коммутатора удивленно оглядела смуглолицего солдата, заляпанного с ног до головы грязью (по дороге пришлось подталкивать машину). Может-быть, случилось несчастье?

— Попробуем, только очень трудно: большие разряды.

В трубке долго стоял шум и треск. Доносились обрывки разговоров. У Матвея от напряжения вспотела ладонь, сжимавшая трубку. Потом голос с того конца провода ответил.

— «Озерный» слушает.

— Гражданка, алло! — закричал Матвей, не умея от торопливости соразмерить голос с помещением.— Дождь у вас есть? Идет дождь?

Телефонистка, видимо, не поняла. В трубке возник звук, как будто по мембране слегка ударили пальцем.

— Слышите?

— Что это?

— Гром.

— Есть, значит? — радостно переспросил Матвей,— а в Ключах, на Аксуате?

— Везде есть, уже часа два идет. А кто это спрашивает? Алло!

Матвей отдал трубку дежурной и вышел с почты. Напряжение, с которым он ехал сюда и ждал у телефона, вдруг спало. Он почувствовал такой голод, что руки задрожали.

Столовая уже закрывалась. Последние два посетителя заканчивали ужин, сидя в дальнем конце зала. Широкая спина и темный с проседью затылок одного из них показался Матвею знакомыми. Он не думал о какой-то внезапной встрече здесь: слишком отдаленным был этот совхоз, и все-таки, пока выписывал чек в буфете и потом стоял в ожидании у раздаточного окна, не мог отделаться от тревожного любопытства: кто же это? В конце-концов не выдержал, оглянулся и встретился с пристальным взглядом Егора Петровича Лукьянова.

XXVI

Всегда или только в этот раз так медленно угасал день? Солнце давно село, отпылал и погас закат, а ночь никак не могла завладеть миром. Родниковая прозрачность воздуха упорно держалась над землей. Небо меняло дневные краски: из бледно-розового ста-

до палевым, затем зеленым с примесью озерной голубизны.

Оказывается, каждую травинку можно было узнать по запаху. Вот чуть уловимая горечь — это полынка. Продолговатые, зазубренные по краям листочки с огуречным запахом — лабазник. У полевой ромашки аромат меда, дикий укроп и мята пахнут свежестью, огородом и напоминают детство...

Матвей тянулся рукой во все стороны, отыскивая вокруг себя травинки, складывал их в пучок. Сочные после дождя, уже набравшиеся сил, то нежные и мелкие, то упругие и шершавые стебельки и листочки. Вот уже больше часа, как, сойдя здесь с попутной машины, он лежал на опушке леса в состоянии странной связанности. Надо было идти дальше, но что-то удерживало его, мешало подняться.

Утром он уехал из совхоза «Раздольный». Отъезду предшествовала мучительная ночь и трудный разговор в столовой с Егором Петровичем Лукьяновым. Матвей не мог обойти столик, за которым сидел этот однорукий усатый человек. Покорно перенес туда тарелку с гуляшом и стакан с теплым чаем. Нет, директор не говорил ему ласковых слов, наоборот, слова его звучали резко и обидно. И все-таки Матвей не обиделся. В суровом выговоре директора он уловил заботу о нем, Борзове, и догадался, что Лукьянов приехал сюда не только по хозяйственным нуждам, но и в какой-то степени ради него. До сих пор звучали в ушах его слова: «Хочешь знать, почему ты здесь? Ты бежал. Испугался людей с мелкой душонкой, которых пока еще сколько угодно. От них бежал, от борьбы с ними. Они оказались сильнее тебя. Но ты бежал не только от них, ты бежал от ответственности за свои слова. Ты обещал народу вырастить хлеб. И не сдержал слово. Это — главное. Нет ничего страшнее, чем обмануть народ, сказать ему неправду...»

Предложи ему Лукьянов в ту минуту вернуться в совхоз, Матвей вернулся бы, не задумываясь. Но Лукьянов не предложил, а попроситься самому не хватило решимости.

...В бригаду он добрался к рассвету, пешком, смер-

тельно усталый. Отвел бригадира в сторонку. Серые глаза Соловьянова радостно заблестели:

— Ну, солдат, надумал? Сегодня же приказом оформим.

— Погоди с оформлением...

— А что?

— Придется тебе снять меня с довольствия.

— Разыгрываешь?

— Нет, серьезно. Кому слать машину?

— Не понравилось у нас? — огорчился моряк.

— Понравилось. Но как говорится: в гостях хорошо, а дома лучше.— Матвею хотелось придать шуточный оттенок своим словам, но сам почувствовал, что шутка не к месту, и закончил без улыбки:— Поеду к себе в совхоз.

И вот он на месте. Где-то недалеко, за размытой сумерками каемкой перелесков озеро Аксуат, где-то тут поблизости должен быть стан бригады. Матвей специально слез здесь, чтобы попасть сразу в бригаду. Самое трудное явиться к товарищам. Как держаться? Что сказать? Можно шуточно взять перед исполняющим обязанности бригадира Миколой Богаенко под козырек: так, мол, и так, прибыл для продолжения службы. А может быть, рассказать обо всем начистоту и попросить машину или прицеп, что доверят? Пристроиться, так сказать, рядовым на левый фланг. Как лучше?

Сгустились сумерки. Из леса тянуло банной терпкостью листьев. Кричали перепела. Вот один булькнул совсем рядом, точно гальку бросили в воду. Ему, как на переключке, ответил второй. Потом оба смолкли, и в тишине послышалось далекое тарыхтение трактора.

Матвей поднялся. Оступаясь и попадая в темноте ногами в какие-то борозды, пошел по направлению звука. Впереди что-то смутно забелело сквозь сумрак. На затравявшем холмике торчал выбеленный известью деревянный остроконечный столбик с прибитой к нему чугунной доской. В дрожащем свете спички Матвею с трудом удалось разобрать выпуклые металлические буквы:

«На этом месте, в мае 1930 года зверски убиты кулаками комсомольцы села Озерное Иван Смоляк и Степан Луговой. Прах их перенесен в село, но горячая комсомольская кровь осталась на этой земле, которую они стремились видеть прекрасной. Остановись, товарищ! Но не плачь, а выше подними голову и бейся за коммунизм, как бились до последнего вздоха эти герои.

Комсомольская ячейка

Обжигая спичкой пальцы, Матвей несколько раз перечитал источенную ржавчиной надпись. Иван Смоляк и Степан Луговой! Так вот где погибли друзья-комсомольцы, первые трактористы, о которых рассказывал в бригаде Егор Петрович Лукьянов в памятный вечер на Аксуате. От мысли, что именно здесь, на этом месте, разыгралась кровавая драма, Матвей внутренне весь подобрался. Чиркая последними спичками, искал борозду, в которую убийцы закапывали свои жертвы. Но время сгладило неровности почвы, заткало все вокруг плотным травяным ковром. На конусном острие столбика висел веночек из увядших полевых цветов: кто-то, видимо из деревенских девчат оставил его здесь, возвращаясь с поля.

Не в силах сразу уйти, Матвей присел на холмик, закурил. Белый одинокий столбик посреди степи, увенчанный сухими цветами, словно увел его в прошлое, отбросил на четверть века назад, в сумрак той далекой майской ночи, когда кулаки в слепой ярости крутили руки трактористам, остервенело били чем попало, а потом окровавленных, но еще живых швырнули в борозду и сверху зажгли костер. Может-быть, в тот вечер было так же тепло и тихо, и так же звенели в неподвижном воздухе комары. И Ванюша Смоляк со своим кудрявым веселым другом так же смотрели в небо — думали и мечтали... Может быть, у кого-то из них назначено было свидание, которому никогда не суждено состояться? Многого не успели совершить эти простые деревенские ребята — самые первые механизаторы. В трудное время, когда старый мир был еще жив и злобно цеплялся за ноги, пришлось им поднимать в степи целину. Жизнь их обо-

рвалась рано, но погибли они, как солдаты, на боевом посту.

И свои собственные переживания показались сейчас Матвею такими незначительными, такими мелкими. Почему он раздумывает и колеблется? Самолюбие мешает? ~~Смушает предстоящая роль левофлангового?~~ И только? А только ли? Он нашарил латунную пуговицу на кармане гимнастерки, расстегнул карман и осторожно вытащил слежавшийся носовой платок: голубой квадратик шелка, обвязанный белым. Сколько раз возникало желание выбросить его или запрятать подальше, но он не выбросил и не запрятал. И теперь не расстанется с ним.

Предстояла борьба против людей «с мелкой душонкой», как выразился Лукьянов, борьба за свое слово, за доверие к себе товарищей, за любовь. За все. Нелегкая борьба. Но он не боялся. И чувствовал, что вся эта укутанная вечерним сумраком весенняя земля как-то по-новому ему теперь дорога.

Матвей встал, ~~спрятал платок~~, бросил потухшую папиросу и зашагал отвердевшей походкой навстречу уже недалекому грохоту трактора и голубым всполохам фар.

Старый, с выгоревшим брезентовым тентом председательский вездеход мягко протарахтел по улице и замер возле конторы колхоза, оставив на росистой траве четкий отпечаток шин. В дверцу просунулась сначала белая босоножка, потом рука, державшая планшетку, и наконец на землю легко спрыгнула небольшого роста девушка в клетчатом пыльнике.

Ольга сажала хлеб в печь, глянула в окно и в изнеможении опустила лопату: агрономша приехала! Опять! Счетовода еще нет в конторе, и Федор там один. Он уже, конечно, увидел гостью, может быть, идет навстречу. Рад. Все договорено небось у них, обо всем условились. Будут сидеть вдвоем, речи любовные вести под видом колхозных дел да забот. А ты мучайся тут, думай...

От возникшей в воображении картины свидания мужа с девушкой у Ольги потемнело в глазах. Все тело точно налилось тяжестью: не было сил сдвинуться с места.

Ревность привязалась к ней, как дурная хворь. И началось все с весны, как только появилась в колхозе девушка-агроном. Жили ведь раньше — и люди всякие ездили, председатель райисполкома, молодая женщина, случалось, даже ночевала у них. Мыслей никаких не было. А тут точно наваждение какое. С первого раза, едва увидела, как муж садился с агрономом в ходок, как улыбнулся в ответ на какое-то ее слово, точно острие ножа вошло в сердце. Вот так ездят вместе, а

о чем говорят, что делают? Знала: не такой Федор, за все время совместной жизни не замечала за ним ничего плохого. И все-таки возникшее один раз подозрение не проходило, мучило, как заноза. Не случайно зачастила в бригаду агрономша, нет! Что же: молодая, красивая. Одета нарядно. А тут скоро тридцать лет, морщины пошли, и платье хорошее надеть времени не выберешь.

В безотчетном порыве Ольга метнулась к простенку, где висело старенькое, засиженное мухами зеркало. Печально тронула чуть заметную, словно проведенную карандашом, черточку в уголке губ. В памяти всплыл недавний разговор с мужем. Вернувшись после работы домой, она торопливо готовила ужин. Сырые березовые дрова никак не разгорались. Дым слезил глаза. Шумели ребятишки. В довершение ко всему привязанный на кухне теленок пустил по полу лужу. А Федор, как нарочно, уткнулся в газету и, казалось, ничего не замечал. Обычно спокойная Ольга на этот раз вышла из себя и со злостью вырвала у него газету.

— И что ты там нашел такого, что уткнулся носом и головы не подымешь! — закричала она по-бабьи визгливо. — Хоть бы детишек унял. Это же ад крошечный. Тут не знаешь за что схватиться, а он читает. Да что я — семижильная — на все поспеть?

Федор промолчал, принялся уговаривать плачущего сынишку и только после ужина, оставшись с ней наедине, заметил:

— Скоро дойдет, кажется, до того, что начнем с тобой драться. Непонятно... Стареем, что ли?

Ольга не придавала тогда значения его словам. Но сейчас вдруг раскрылся перед ней их смысл: стареем... Она стареет, вот что хотел сказать Федор.

Обида закипела на сердце. Конечно, она постарела, а отчего? Агрономше бы такое хозяйство, троих детей, разбитую параличом старуху-свекровь, которая третий год не встает с постели. Небось не было бы времени вертеться перед чужим мужем...

Из горницы приковылял трехлетний сынишка, тербил за юбку, просил молска. Огорченный невниманием матери, мальчик заревел во весь голос. Ольга, точно

очнувшись от забытья, подхватила его на руки, повернулась к окну и оцепенела. Федор, высокий, подобранный, в гимнастерке, по армейской привычке туго перетянутой ремнем, шагал через улицу, направляясь к дому, и рядом с ним шла агрономша.

Ольга почти не слышала, как они вошли. Дрожащими, непослушными пальцами гладила вихрастую головенку сына, пытаясь застегнуть пуговицу на его рубашке. Девушка не особенно смело шагнула через порог.

— Можно? Здравствуйте...

Большие серые глаза ее смотрели доверчиво и смущенно. Мальчик перестал хныкать, с любопытством тарачил глазенки на блестящую планшетку в ее руках. На лежанке с трудом приподнялась старуха, закивала в ответ. Только Ольга молчала, стояла как окаменелая, прижимая к себе ребенка.

— Встречай гостей, хозяйка. Завтракать пришли. Да знакомьтесь заодно, — нарушив неловкое молчание, весело сказал Федор.

Девушка, ободренная его словами, подошла к Ольге, протянула руку:

— Наташа Торопова, агроном.

«Да знаю, анафема ты распроклятая, разлучница», — чуть не вырвалось у Ольги. Но она поймала на себе внимательный взгляд мужа, подавила гнев и чуть шевельнула губами, произнося свое имя. И тут же, как бы спохватившись, взяла лопату и отвернулась к печке, хотя вынимать хлеб было еще рано. «Когда сам ходит из дому — беда поправимая, — вспомнились ей слова бабки Еремеевны, — а вот ежели на дом приведет любовницу — тут уже все. И надо бы хуже, да некуда».

Ей одной, бабке-знахарке, решила Ольга поведать о своих горестях. Старухе многие из женщин доверяли свои тайны, хотя толком никто не знал откуда она и кто. Рассказывали, что ее когда-то привез сюда муж-коновал. Сам он умер, заразившись сибирской язвой, а бабка, похоронив его, так в селе и осталась. Были у нее дети, но то ли умерли, то ли поразъехались, и старуха доживала век одна, пробавляясь

ворожкой и знахарством. Вросшая окнами в землю хатенка Еремеевны походила на сеновал. Вся она была увешана пучками сухих трав: шалфея, донника, полыни, ромашки. И зимой и летом стоял в ней волнующий запах степи. Травяными отварами и наговорами бабка лечила от разных присух, сглаза и прочих не предусмотренных медициной недугов. Но чаще всего обращались к ней те, кто для интереса, а порой и с верой в силу бабкиного провидения, надеялись заглянуть в свое будущее, предугадать судьбу.

Ольга побывала у бабки впервые лет пять назад, когда Федор служил в армии и во время одного из нарядов на границе был тяжело ранен. Рука диверсанта послала пулю в сердце солдата, но смерть прошла мимо, опалив его своим дыханием, приковала на долгие месяцы к госпитальной койке. Ольга измучилась в ожидании редких вестей от мужа. Поехать к нему она не могла: на руках был ребенок и больная свекровь. А думы и страхи за любимого человека не давали покоя.

Замуж Ольга вышла за полгода до того, как Федора призвали в армию. Встретила на току во время молотбы застенчивого, курчавого машиниста локомотива и влюбилась до слепоты. Не раздумывая, поехала за ним сюда, в Моховое, где не было ни родных, ни друзей, променяв свое большое, шумное село на захолустную деревушку в несколько десятков домов. С жаром, с упоением принялась она устраивать семейное гнездо, придавая жилой вид старому, изрядно запущенному дому мужа. Даже ворчание больной свекрови не могло омрачить светлого настроения.

Непривычный мир глухого села, омутную тишь единственной его улицы, упирившейся одним концом в березовый лес, а другим в озеро,— почувствовала она впервые, когда подвыпивший Федор уехал на машине вместе с другими новобранцами в военкомат. Точно камень навалился на сердце, и все вокруг окуталось темной паутиной. Дом казался ей теперь особенно старым, стекла в потемнелых рамах не отмывались и не светлели, сколько она ни терла их мелом. И свекровь не выглядела уже милой старушкой, с которой можно

было во всем соглашаться. Докучливое ее ворчание выводило Ольгу из себя. И некуда было уйти, не с кем отвести душу. В первое время завелись было подружки. Раза два Ольга ходила с ними в кино, которое за неимением клуба крутили в школе. Но потом родился ребенок, девочки постепенно отстали, а наиболее близкая подруга Тоська Теренина вышла замуж.

Обремененная материнскими заботами, хозяйством Ольга перестала бывать даже на комсомольских собраниях. Сначала за ней посылали, потом махнули рукой: детная мать, не вытянешь. К тому же Моховое стало бригадой укрупненного колхоза, и комсомольцам приходилось ездить на собрания в соседнее село, километров за двенадцать. Ольгу забыли. Была когда-то веселая дивчина, шутница и песенница, да, как говорится, вся вышла.

Впрочем, один раз наведался к ней комсорг — избач, в прошлом односельчанин Илюха Барабанов. В воскресный день подкатил на мотоцикле в начищенных до блеска ботинках, в новом, прорезиненном плащерегане. Вошел со стуком. Поздоровался, потянул воздух вздернутым носом.

Ольга стирала пеленки, разогнула с трудом задеревеневшую спину. По официальному виду избача поняла: приехал из-за комсомольских взносов. Страхивая с покрасневших распаренных рук мыльную пену, стояла перед ним, как провинившаяся ученица перед строгим учителем: оправдываться было нечем.

Илюха уселся в передний угол, закинув ногу на ногу, курил, мерил ее прищуренным взглядом своих желтых кошачьих глаз. Потом через полураскрытую дверь глянул в горницу, где в качалке спал ребенок, и, сбивая на пол ногтем пепел с папиросы, усмехнулся:

— Я смотрю, не до комсомола тебе, Михалева. Оторвалась ты от коллектива и организации целиком и полностью. Можно сказать, давно выбыла из союза механически. За сколько ты месяцев не платила взносы, ну-ка покажи?

В шафранного цвета зрачках Илюхи тлели искорки злорадства. Не забыл, не может простить, что она отвергла его. После встречи с Федором перестала ходить

в читальню, не брала от него стихов, тщательно переписанных каллиграфическим почерком на голубых бланках библиотечных формуляров. Сказать бы, какого труда стоит ей ездить за двенадцать километров, чтобы уплатить взносы, как вообще ей тяжело одной, но гордость помешала. Обидным показалось объясняться перед этим щеголеватым парнем, который рад, что хоть теперь может причинить ей боль. Гневно бросила ему билет: смотри! И тут же пожалела. Едва Илюха вышел, кинулась за ним, чтобы взять у него комсомольский билет. Но мотоцикл успел унести комсорга далеко по улице. И больше Илюха Барабанов не появлялся.

Через несколько дней на работе Тоська Теренина, и после замужества не растерявшая своего озорства, сказала, шутливо обнимая подругу за плечи:

— В нашем беспартийном бабьем полку прибыло. Все теперь как одна — несоюзные.

— Ты о чем это? — насторожилась Ольга.

— О том самом... Про тебя в газете пропечатано: комсомольский балласт. Исключили тебя, подруженька, за здорово живешь.

— Откуда тебе известно?

— А в конторе почта, привезли утром.

Ольга едва дождалась конца дня. Газету с заметкой она нашла. А писем от Федора по-прежнему не было. Усталая, расстроенная Ольга покормила ребенка и прилегла на кровать в настывшей за день горнице. С кухни доносился скрипучий голос свекрови:

— Чем убиваться зря, сходила бы лучше к Еремеевне, прикинула бы на картах. Карты они иной раз все скажут. И никто тебя не съест, не бойся... Руки-ноги не отвалятся.

А что в самом деле? Пальцем на нее укажут, если она пойдет к бабке? И не все ли равно теперь, как будут о ней думать?

Ольга вскочила с кровати, сдернула с вешалки телогрейку, накинула шаль, пошла.

Бабка Еремеевна встретила ее ласково, мышью метнулась навстречу, потянула в духовитый сумрак избушки.

— Милости прошу, проходи. Спасибо, что не забыла старуху. Разрумянилась на морозе, расцвела: ай поспешала куда?

— К вам я, Еремеевна, со своими горестями,— сказала Ольга, с невольной опаской оглядываясь на дверь.— Про Федю хочу узнать...

— Где он у тебя? Слышала, с ворогами бился, там и пострадал...

— В госпитале он сейчас. Ранен. И писем от него давно нет. Измучилась я. Поворожите, Еремеевна... А вам вот тут мамаша гостинец прислала,— заторопилась Ольга, доставая из-под шали тряпицу с куском свиного сала.

Старуха сунула узелок под лавку, притворно опечалилась:

— О-хо-хо. Дела наши грешные. И у каждого заботы, у каждого болести! Не уйдешь от них, покуда мать сырая земля не примет. Только тогда покой обретешь и тревоги кончатся.— Она потянулась к столу за картами, привычно перетасовала колоду крючковатыми, как птичьи когти, пальцами.

— Прикинуть-то можно. Да не верите вы, теперешняя молодежь, нашим стариковским приметам. По-своему все норовите, шиворот-навыворот. Комсомолка небось?

— Была,— вздохнула Ольга,— теперь уже нет.

— Аль провинилась?

— Долго рассказывать, бабушка. Вы бросьте на Федю, он у меня бубновый...

Старуха развернула потрепанные карты веером, положила на стол, принялась вытягивать по одной.

— Ну, вот, находится, он, касатик твой, в казенном большом доме. Тяжело ему: ест-пьет из чужих рук. Но, бог даст, все обойдется. Когда о человеке душа денно и ночью скорбит, печалится, без награды это не проходит. Не гнети себя, милая. Не убивайся...

— Что же делать, бабушка?

— Жди. Богу надо молиться за его здоровье. Ай, не умеешь? Не крещеная?

— Не умею,— призналась Ольга.

— А ты попробуй. Бог, он и от неумеющего молитву

воспримет, ежели она от души. А не сможешь, суда не будет.

И Ольга попробовала. Поздно ночью, когда уснул приболевший сынишка и утомилась свекровь, встала и крадучись вышла на кухню. На полу чешуйчатой дорожкой лежал лунный свет. Ветер сиротливо скребся в разрисованные морозом окна. Одинокая икона в углу тускло поблескивала запыленной позолотой. Ольга опустилаcь возле кухонного стола на колени, озираясь по сторонам, как вор, неумело обмахнула себя собранными щепотью пальцами.

В бога она не верила и, как миллионы людей ее возраста, даже не представляла себе, что это за вера. Существование божества, стоявшего над всеми, которому надо было поклоняться, не умещалось в ее сознании. Всем опытом своей, хотя и небольшой, жизни убеждалась она в том, что все зависит от самого человека. Если сам не сделаешь, не добьешься — не помогут никакие мольбы. Но переживания последнего времени точно затемнили привычные представления. Как при зубной боли, ей хотелось испытать любые средства: а вдруг да помогут? Она прошептала молитву, которую сама придумала, потому что никаких других не знала: «Господи, если ты есть, сделай так, чтобы с Федей было все благополучно». И тут же изумилась своему поступку: она читает молитву! А если свекровь только притворилась, что спит, и видела как она молится богу?

Ольга вскочила, шмыгнула в горницу и, забравшись под одеяло, примолкла, пережидая тревожные удары сердца.

К ворожее больше не пошла. Но та через несколько дней навестила Михалевых сама. Неслышно, как привидение, скользнула в дверь, укутанная поверх шали байковым одеялом, с суковатой палкой в руках, перепугав своим видом игравшего на полу сынишку Ольги.

— Вроде и чужие люди, а болит душа. Зайду, думаю, узнаю: есть ли радость — весточка? За одним и тебя, Федосеевна, проведаю, — напевно говорила ворожея, разматывая возле печки заиндевевшее одеяло и сбивая с валенок снег.

Накануне от Федора пришло наконец письмо, и Ольга, точно выплыв из омута, не зная, куда себя девать от радости, бросилась раздевать и потчевать старуху чаем. И не от того, что так уж была благодарна ей за удачную воровку, а просто это был первый человек, который проявил к ней интерес и которому можно было рассказать о своем счастье.

— Жив-здоров он, бабушка! Скоро обещает приехать насовсем,— взволнованно сообщила Ольга.

— Ну, и слава богу, ну и с радостью тебя, голубица.— Старуха в черном платке, подвязанном концами вниз, носатая, удивительно похожая на курицу-наседку, вскинула лицо вверх, истово перекрестилась. Потом, попивая чай и откусывая сахар здоровыми, крепкими, как у грызуна, зубами, говорила:

— Все это, голубица, от бога, за твое терпение. За то, что трудишься, дитя растишь и за старым человеком ухаживаешь. Жизнь, она — ах, как нелегка. Прожить — не поле перейти. И на все надо терпение да молитву. Помолишься господу богу — и будто полегчает сразу. Как уж тяжело мне было, когда в тифозный год Ванюшку-сына схоронила. Руки на себя хотела наложить с отчаяния. В молитвах только и находила утешение, силу черпала в житии святых. Подумаешь, какие они муки за нас грешных на себя приняли,— и слезы высохнут. Их горе — океан, а наше — капля. Ну, спасибо, голубица, за хлеб-соль. И мне утешение, что жив-здоров сокол твой ясный, прилетит скоро домой. А спонадобится когда, приходи, помогу, ежели в силах буду.

Пожелания ли эти запомнились или навалившаяся внезапно беда ослепила, но после того как Ольга начала ревновать мужа, она прежде всего пошла к бабке. И не хотела рассказывать, да та постепенно сама у нее все выудила. Ольга сначала отвечала на вопросы осторожно, потом не удержалась, уронила голову на стол, заплакала:

— Что делать, бабушка? Скажите...

— Трудная это задача,— посуровев, ответила старуха и пытливо посмотрела в ее залитые слезами глаза.— А ты ему-то объяснилась, ай нет?

— Не говорила я ни слова Феде. Так и терзаюсь одна... Мучаю себя, а может, напрасно все? От бабьей дурости...

— Нет, голубица, сердце чует, значит так и есть. Мужики — они все на одну колодку шиты: мало того, что дома жена раскрасавица, а на другие юбки глаза у них все одно горят. Такая уж природа мужчинская...

— Как же быть, Еремеевна?

— Терпи, милая. Бог, оградит твое счастье, за твою доброту да ласковость.

— Но ведь трудно. Где сил набраться? Видятся они каждый день...

— Подурит, попрыгает, да и образумится. Не принимай всего к сердцу. На стороне — не дома. Семья его все одно перетянет. Послушай-ка я тебе сообщу притчу...

Вот тогда-то бабка и сказала ей слова, вспомнившиеся Ольге, едва агрономша вошла: плохо, если в дом любовницу приведет. Но ведь привел... Чего еще надо?

Неловким движением Ольга уронила с лопаты пригоревшую, непропеченную булку, сунула ее под лавку, торопливо стала доставать из шкафа посуду. Она вся закаменела, пока накрывала на стол и готовила завтрак. Для кого? У себя в доме — для какой-то девицы, которая мужа хочет увести, семью разбить...

А агрономша, как своя, скинула плащ, присев на пол, подхватила на руки ребенка. Растревожила и остальных детей. Старший сынишка в одних трусиках сидит рядом, показывает ей школьные тетради. Дочка что-то рассказывает. А Федор улыбается, поглядывает со стороны: ею любит.

Подойти бы, отобрать сына, нашлепать остальных, чтобы не лезли, чтобы руки ее к ним не прикасались. Точно дурман напал, не слушаются ноги, язык как отсох. Вместо того чтобы отогнать детей, расшуметься, Ольга поставила на стол сковороду с яичницей, молоко, нарезанный большими ломтями горячий хлеб. Даже выдавила из себя приглашение:

— Присаживайтесь, Наташа. Чем богаты — тем и рады. Кушайте.

И, сославшись на что-то, заторопилась в кухню. В дверях ударились бровью о косяк, но боли не почувствовала.

— Оля, ты побыстрей,— позвал муж.

— Я сейчас... Не ждите меня... За печкой надо последить,— ответила Ольга, слепо переставляя чайные чашки.

В открытую дверь слышно было, как за столом разговаривает, смеется гостья, смеются ребяташки. И Федор рассмеялся. И не глуховато, как обычно, а звонко, весело. Ольга почувствовала вдруг себя никому не нужной, чужой. Хорошо там без нее... А может быть, и не ходить: пусть сидят, смотрят друг на друга? Но помимо воли ноги сами понесли ее в горницу. Ей показалось, что смех и оживление за столом стихли, едва она вошла; и девушка с виноватым выражением вскинула на нее глаза:

— А вот нам Ольга Михайловна поможет. Мы тут пытаемся выяснить один очень важный вопрос. Скажите, пробовали здесь когда-нибудь высаживать огурцы в грунт? Все утверждают, что почва для огурцов совершенно не годится.

— Оля, ты ведь помнишь — садили возле озера? Еще когда Кузьма Ильич жив был. Ты мне, кажется, даже в письме об этом писала,— поторопился вставить Федор.

Ольга помнила. Но в горле встал комок и как будто держал слова. Заметила — пушистые брови мужа удивленно дрогнули. Федор встал:

— Ну, спасибо, хозяйка. Нам пора. Хоть и была Наталья Сергеевна в гостях, а за огородные дела она мне всыплет, чувствую.

Уже в дверях задержался, встревоженно спросил:

— Что это у тебя?

Ольга потрогала ушибленное место: на пальце осталась кровь. Сочувствие и тревога в голосе мужа только еще больше ожесточили ее: пожалел, а сам?..

— Ничего... Задела нечаянно... заживет... На работу надо...— запинаясь, проговорила она и отвернулась.

Огородная бригада убирала овощехранилище. Жен-

шины носилками вытаскивали картошку, опутанную белыми космами ростков. В глухом сумраке погреба пахло сыростью и гнилью. С потолка сыпался песок. Работавшая в паре с Ольгой Тоська Теренина сердито ворчала:

— Придумали занятие: без глаз останешься. Кому, на кой ляд понадобилась эта яма? И осенью бы успели вычистить. Все равно картошка сгниет и на воздухе. Наши колхозные начальники не могут, чтобы не испортить чего-нибудь. Шариков не хватает...

Тоська недавно ушла от мужа — десятника лесхоза, и после неудач семейной жизни сделалась еще задиристей и острее на язык.

— И бригадир тоже хорош,— нарочно, чтобы задеть подругу, говорила она,— сам небось и носа не показал сюда, не хочет гимнастерку испачкать, по воздуху гуляет. А нас загнал в шахту. Бойтся, как бы не присидели лишнюю минутку...

Федор был где-то здесь. В солнечном квадрате дверей несколько раз мелькнула его высокая фигура. Ольга нагребала на носилки лопатой картошку и настороженно ловила его голос. Вот он донесся с противоположного конца хранилища, и к нему тотчас же присоединился голос агрономши. И тут вместе!

Ей захотелось бросить все, забиться в темный угол. Она медленно выпрямилась, вялым жестом затолкала выбившиеся из-под платка волосы. Тоська, по-своему расценив ее движение, бросила лопату:

— Перерыв. Давай посидим. Ну их к чертям, эти дела. Всего не переверотишь. А не заболела ты часом, Олюшка? — спросила она озабоченно.— Вид у тебя квелый...

— Будто ты видишь, какой у меня вид,— усмехнулась Ольга, опускаясь на кромку сусека.

— А то нет? Эх ты, подружка милая,— Тоська обняла ее за плечи.— Я все примечаю. Смотрю на тебя и дивлюсь: зачем ты здесь? Ну, уж за такую, как я, заступиться некому: выкручивайся сама, как знаешь, а тебе чего не хватает? Муж — бригадир, хозяин над всеми, а ты тут гниль глотаешь в погребе. Я бы на твоём месте сидела сложа руки да семечки лузгала. Чест-

ное слово, и все это оттого, что характера у тебя нет. Беспринципная ты. Понимаешь?

— Нет.

— До тебя и не дойдет. Муженек у тебя вон какой: покоя никому не дает. А ты чересчур выдержанная. Точно мешком ударенная, не в обиду тебе скажу. Смотри, не прозевай его со своей спокойностью, не прокрауль...

— О чем ты?

— Спрашивает... Эх, свечка,— Тоська вздохнула, приблизила свое лицо. Глаза ее насмешливо блеснули в темноте.— Не боишься за супруга, не опасаясь?

У Ольги дрогнуло сердце: «Догадывается, заметила». Но сдержала себя, отозвалась спокойно:

— А чего мне опасаться?

— Кто знает... Возьмет да и подкатится кралечка. Мужчины тихонь не любят, учти.

— Кому он нужен: детей целое застолье.

— Дети, Олечка дорогая,— не помеха. Прилипнет, обовьет, как хмель тычку,— и пропал твой Федя! Только его и видела. Вздумаю вот, поведу на него атаку. С одним не повезло, может, с другим выйдет..

— Глупости болтаешь. Пошли,— поднялась Ольга. «Знает,— решила она, неловко подхватывая носилки.— Все знает. Скоро всему поселку станет известно».

Весь день она отчужденно отмалчивалась. Возвращаясь вечером с работы, отбилась от компании женщин и огородами выбралась к озеру. Присела на камень возле берега. За изломистой каемкой леса по ту сторону озера костром пылал закат. Багровые отблески красили зеркальную гладь воды. Брунжали комары.

Ольга дождалась, пока стемнело, поживаясь от сырой прохлады встала, пошла в село. Напротив спрятавшейся за плетнем избушки-развалюхи остановилась, воровато оглянувшись вокруг, скользнула в ворота.

Бабка Еремеевна затопляла печь. Сгорбившись, разжигала на шестке лучину. На скрип двери обернулась, насторожилась, но, разглядев Ольгу, приветливо закивала:

— А мне показалось, кто чужой. Заходи, голубица, садись. Сейчас огня добуду.

Она потушила лучину, задвинула печку заслонкой, потянулась к лампешке, висевшей над столом. К терпкому запаху трав примешивалась керосиновая вонь. Спертый, духмяный воздух стеснял дыхание. Ольга размотала платок, опустилась на лавку, поближе к окну.

— Что, голубица, аль несчастье какое приключилось? — поинтересовалась старуха, пристально разглядывая ее. — Что-то ты даже с личика сменилась. Кваску принесу, выпей.

— Не надо, — Ольга замотала головой, стараясь сдержать подступившие рыдания.

— Видно, и впрямь плохо, — заключила убежденно бабка. — А ты, матушка, поплачь, не держи в себе горечь. Слезы облегчают. С хозяином небось снова нелады? Не унимается? И на дом, никак, приводил даму?

— Приводил, — кивнула Ольга и в отчаянии устремила на старуху затуманенный слезами взгляд, — что мне делать, бабушка, скажите? Не могу я так жить дальше. Хоть топись...

— Эка, дурь — топиться, — рассердилась старуха. — Ты что, девонька, в своем уме? Дети у тебя, подумала об этом? Как же грех этакий на душу брать? Ну, утопишься? Кому плохо сделаешь? Муж, он себе найдет другую. А детям матери не будет.

— Но и истязание такое терпеть тоже немислимо. С ума сойдешь.

— Участь наша бабья — терпеть да покоряться. От бога нам крест. Господь и создал женщину для великих мук, потому как женщина главный продолжатель рода человеческого. От Адама так и до сих пор. Мириться надо.

— Мириться, — рассердилась вдруг Ольга и вытерла темной от земли ладонью глаза, — а до каких это пор? Утешенный я уже наслушалась. Вы мне помогите другим чем-нибудь.

— А я, голубица, не божья мать, не свят дух. И сжели того требуешь, чтобы все вышло по волшебст-

ву — то зря. Колдуньи — нечистая сила, а у меня крест, слава богу, на шее. Не хочешь слушать советов — сама умом раскидывай. Твоя печаль — тебе и мыкать ее, — обиженно поджала губы Еремеевна.

— Не сердись, бабушка, — Ольга виновато тронула ее сухую, как пергамент, руку. — Я со своим несчастьем голову потеряла, сама не знаю, что и плету. Поворожили бы вы, может, легче станет. А за труды вот вам, — она торопливо сунула старухе смятую двадцатипятирублевку, с которой собралась зайти в магазин за сахаром.

— Это ни к чему. А человеку ежели когда помогу, то от доброты душевной. Потому как не помочь ближнему — перед богом грех, — все еще недовольно ворчала бабка. Но деньги взяла и уже деловым тоном:

— Карты, голубица, тут не помогут. Ты его присуши к себе, супруга-то. Один выход. Дам я тебе питья безвредного, на корне-зелени настоящего. Ты его этим питьем попользуй с недельку. Пьет он у тебя чай в накладку?

— Пьет.

— Вот и подливай в чаек понемногу, а чтобы незаметно было — сахару клади побольше. Оно и возьмет свое: отобьет у него худые мысли. Присохнет к тебе, будет любить, как невесту...

Наговаривая, бабка пошла в куть; в полутьме шарил в шкафчике, звенела склянками. Тускло освещенная красноватым пламенем лампы, согнутая, она удивительно походила на сказочную бабу-ягу, затевавшую очередное коварство в своей избушке на курьих ножках. Ольге стало страшно. В смятении глянула она на дверь — бежать отсюда, не дожидаясь бабкиных лекарств. Поговорить обо всем с Федором, расспросить его... выяснить...

Бабка долго возилась в шкафу, подносила пузырьки к мясистому, свисавшему картошкой носу, снова ставила на место. Наконец она, видимо, отыскала что нужно. Понюхала еще раз, удовлетворенно буркнула что-то и сунула Ольге флакон с мутной жидкостью.

— Вот, наливай по две чайных ложки. Через неделю-две всю напасть как рукой снимет.

«Не брать, отказаться»,— подумала Ольга, а рука протянулась, зажала склянку.

Ночью хлынул грозовой дождь. От пушечных раскатов грома вздрагивала земля, словно били по ней огромным молотом. Магические вспышки молний были такими сильными, что в их мертвенном свете можно было хорошо различить залитую водой улицу, расплывчатую стену леса за деревней.

У Михалевых долго не спали. Встревоженные дети сбились у окна и сидели, как зачарованные. Даже малыш приумолк, слушая, как шумит и плещет ливень, как вода ручьями падает с крыш.

Федор сидел вместе с ребяташками. Осторожно покуривал в кулак, улыбался, радуясь дождю.

— Оля,— окликнул он жену,— ты посмотри что делается. Льет, как из ведра. Красота!

Ольга возилась в горнице, подставляя таз к гардеробу, где протекал потолок. В другое время она бы не выдержала и разругалась из-за этой дыры на крыше. Но сейчас житейские заботы точно отодвинулись на второй план. Странная успокоенность овладела ею в этот вечер. Так бывает с вооруженным человеком в ночном лесу. Кто знает, какие опасности таит в себе темнота. Страхи закрадываются в душу. Но вспомнишь, что с тобой ружье, коснешься рукой гладкой холодности металла,— и спокойнее на душе.

Вытирая мокрую щеку, Ольга подошла к двери, на слова мужа отозвалась с напускной суровостью:

— Ложитесь вы, полуношники. Нашли время погодой любоваться. Гони ты этих зрителей спать, Федя.

Федор спал, придавив щекой подушку, нахмурил брови, точно разлившийся по комнате лунный свет мешал ему.

Ольга, приподнявшись на локте, смотрела в освещенное месяцем лицо мужа. Спит, ни до чего ему нет дела. Спокоен. Неужели разлюбил? Даже не верится, что эти самые обветренные губы шептали ей когда-то слова нежности, а тяжелые мускулистые руки легко опускались на плечи в ту незабываемую осеннюю ночь на озере...

Ночь! Какой короткой показалась она ей тогда. Как-будто всего минуту назад пыльный, почерневший на солнце машинист, выбрав момент, шепнул на ухо: «Приходи на озеро. Придешь?» И она, волнуясь и замирая от волнения, бежала по росистой траве к берегу. Как ей хотелось тогда, чтобы как можно дольше не наступало утро, чтобы еще хоть немножко посидеть рядом под пиджаком, робко накинутом Федором ей на плечи.

В последнюю встречу на озере налетел внезапно дождь, и до самого утра продержал их под старой ригой, куда они успели заскочить. Расстались, когда уже женщины гнали в табун коров. Ольга попыталась вырваться, убежать.

— Ой, люди смотрят. Стыд какой...

Федор осторожно привлек ее к себе:

— Не бойся, Олек. Я теперь никому тебя не отдам. Хочешь, пойдем сейчас к твоей матери и обо всем расскажем?

И видя, что она зажмурилась от страха, предложил:

— Ну, ладно, до вечера. А вечером скажу обязательно. А пока отпрошусь, к своим сгоняю: чтобы к свадьбе готовились.

Эти промелькнувшие в памяти воспоминания показались Ольге прощальным взмахом молодости, отзвуком невозвратного. В порыве безграничной нежности она прижалась мокрой от слез щекой к упругому плечу мужа. «Не отдам никому!»

Федор открыл глаза, приподнялся:

— Ты что? Который час?

Гулко застучала мысль: «Поговорить, высказать ему свои подозрения. Узнать все. Или уже не нужно теперь?» Ольга поднялась, натянула на мужа одеяло:

— Спи. Это я с Сережкой... Ворочается он что-то во сне...

Она осторожно качнула кроватку сына, ступая босыми ногами по влажным половицам, вышла на кухню. Нашупала в шкафу спрятанный за посудой пузырек.

Только под утро забылась ненадолго тяжелой дремотой, как в пропасть упала. Разбудил ее скрипучий старческий кашель свекрови. Ольга встала, подала

старухе воды, наспех умывшись, пошла доить корову. Когда спустя полчаса с подойником возвращалась домой, навстречу вышел Федор. Он спускался с крылечка, на ходу застегивая ворот гимнастерки.

Ольга загородила дорогу:

— Куда в такую рань?

Федор вскинул руки, с хрустом потянулся, восхищенно обвел взглядом густо-синее небо, чуть подзолоченное солнцем, еще томившимся за горизонтом.

— Хорошо сбрызнул дождичек! Вовремя, как по заказу. Ехать надо, посмотреть, что в полях.

«Агрономша скоро пожалует, опоздать боишься?»,— подумала Ольга и вдруг спохватилась: уедет, а бабушкина присуха? Подавив в себе тревогу, сказала с ласковой настойчивостью:

— Голодным тебя не пущу. Что это за каторга в самом деле: ни днем покоя, ни ночью. Ребята и то искучались: видят раз в неделю. Бригадир-то бригадир, а про себя тоже надо подумать.

— Ладно,— улынулся Федор и привлек жену к себе,— так и быть, ставь самовар. А я пока физзарядкой займусь: плетень поправлю.

Ольга измучилась, дожидаясь, пока закипит старый с помятым боком полведерный самовар и сварятся на конфорке яйца. Завтракать собрала в прохладной горнице.

— Зачем это ты? В честь какого случая? — удивился Федор и поглядел на потолок, расплывшийся желтыми кругами.— Чтобы, значит, в своей безхозяйственности убедился лишний раз? Да?

Ольга отвернувшись, заторопилась на кухню. Плотно прикрыла за собой дверь. «Побольше сахару... Только бы не заметил...» Достала флакончик, дрожащими руками налила бурую, как квас, тягучую жидкость в ложку. Торопливо бросила в стакан три куска сахару. Второпях выронила пузырек и часть содержимого выплеснулась на клеенку, потекло струйкой на пол. Пока искала тряпку подбежал котенок, сунул мордочку в лужицу, замотал головой...

— Хозяйка, жду,— позвал из горницы Федор,— да прихвати солонку.

— Сейчас. Сейчас...

Ольга, как во сне, прошла в горницу, поставила перед мужем стакан с чаем.

— Я тебе сахару положила, пей.

— Вот это, я понимаю, внимание. И чаек горячий, как пламя,— Федор обхватил стакан ладонями, склонился, втягивая в себя терпкий парок, отхлебнул. Ольга замерла: сейчас учует. Но он ничего не заметил, выпил стакан, попросил второй. И все время шутил, разговаривая вполголоса, чтобы не разбудить ребятшек.

— Ну спасибо, Олек. Зарядился на весь день. К обеду я, наверное, не успею. А на вечер сообрази каких-нибудь щец с мясом. Фекла Бармашова теленка заколола, может быть, продаст килограммчика два.

Ольга вышла следом за мужем на улицу. Солнце, большое, жаркое, висело над голубоватой гребенкой леса, ослепительно плавилось в лужицах, оставшихся после дождя. Теплое марево дрожало над землей, как пар над котлом. На траве — алмазная россыпь капель. Пахло землей и березовой свежестью влаги.

Ольге вспомнилось то далекое утро возле озера, когда они возвращались в деревню после дождя. Как обиженная девчонка прижалась к мужу, припала к сильному родному плечу.

— Ты что? — удивился Федор, — что с тобой? — бросил спичку, обеспокоенно посмотрел на жену: — Ты не захворала, Олек? Выглядишь странно. Вчера и сегодня... Ничего не болит?

— Я здорова, тебе просто показалось, — ответила с вымученной улыбкой Ольга, стараясь поскорее справиться с собой. — Все это от того, что ты дома бываешь редко. А ведь нас четверо у тебя...

— Опять за свое, чудачка, — Федор нахмурился, посмотрел в сторону. — Освобожусь вот немного и возьмусь за хозяйство. Крышу починю. Председатель обещал шиферу. Потерпи. Улыбнувшись, он осторожно отстранил от себя жену и зашагал в контору, чиркая на ходу спичку.

После бессонной ночи у Ольги все валялось из рук. Процеживая молоко, опрокинула кринку. Чуть не об-

ронила ведро в колодец. Томила смутная тревога. Скрипнувшая калитка заставила ее вздрогнуть. По двору шла, шурясь на солнце, Тоська Теренина, невысокая, по-девичьи гибкая в белой крепдешиновой кофточке и туфлях-лодочках.

— Доброе утро, Ольга Михайловна. Куда спешишь со своими делами-заботами? Сегодня можно не торопиться: агрономша наказала без нее начинать помидоры высаживать.

— Приедет.

— А может, и нет — начальство! Когда захочет, тогда и пожалует. Позавидуешь людям с образованием. И чего я, дурья голова, учиться не стала, когда заставляли, — Тоська вздохнула.

— С чего это ты вырядилась? — Ольга поставила ведро с водой на траву, — кофточка вон новая...

— В райцентр собралась, к твоему благоверному торопилась за разрешением, а он укатил, успел.

— Это по каким же делам в райцентр?

— Погулять хочу. Человек я свободный. Авось встретится кавалер какой. Не век же одними воспоминаниями о муже жить. Эх, злости во мне бабьей накопилось! — Тоська обхватила руками плечи, засмеялась.

— Бабий век — сорок лет: есть время в запасе. А после сорока — второй век. Наше не уйдет! Схожу вот в суд, разведусь с муженьком и буду проситься у Федора Ивановича в сенокосную бригаду.

— Для чего?

— Там хоть какие ни есть, да мужчины. А тут с вами, бабьем, засохнешь на корню. Эх, судьба моя вдовья — несладкая, — Тоська осторожно расправила помятую кофточку. Темные с косым разрезом глаза ее подернулись задумчивостью.

— Я вот часто думаю: а что, если бы человек мог жизнь начать сызнава, чтобы ошибки прежние учесть? Лучше было бы али нет? Как ты думаешь?

— Вопросы такие задаешь... Извини, Тося, некогда мне стоять. На огород надо, а я ребятишек покормить не успела, — склонилась над ведром Ольга.

— Вот и поговори с ней по душам. Да не будет се-

годня агрономши, не торопись. Жених к ней приехал из города, замуж выходит Наталья Сергеевна.

Ольга выпустила дужку ведра, растерянно вскинула глаза:

— Замуж?

— А ты что удивилась? Думаешь, ученая так и устроена как-то по особому? Такая же грешная душа, как и мы. Выпрыгнет сейчас, а потом будет каяться. Все девки так. Это ведь ты одна счастливая, ни вздоха от тебя не услышишь, ни оха,— насмешливо поддела Тоська.

У Ольги звон пошел в ушах — замуж выходит! Неужели она зря мучилась, думая о Федоре плохое?

— Везет мне сегодня,— усмехнулась Тоська,— на ловца и зверь бежит. Благоверный твой, смотри, едет. За воротами застучал ходок.

Федор с трудом выбрался из коробка, вялым движением сунул под сиденье кнут. В калитке качнулся, как пьяный, ударился о столбик плечом. «Неужели выпил где?» — пронеслось у Ольги.

Тоська, сорвавшись с места, подбежала первая. Нагнувшись, подставила ему под руку плечо и сердито, как посторонней, крикнула Ольге:

— Поддержи с другой стороны, захворал он!

Ольга точно приросла к месту, смысл тоськиных слов не сразу дошел до ее сознания.

— Олек, ты не пугайся.— На губах Федора мелькнула слабая улыбка.

Ольга только теперь заметила пепельную бледность его лица. Даже родинка на щеке, которую он часто задевал во время бритья, побелела. А на лбу и на висках росинками проступал пот.

— Живот закрутило. Навсрное от воды... В бригаде выпил целый ковшик, а она отдает болотом...

«Нет, не от воды не от воды!» — чуть не крикнула Ольга, холодея от страшной догадки.

— Лечь тебе надо скорее, Федя... Молока горячего выпить... Пройдет это все... Выздоровеешь...

Федор сделал несколько шагов, потом как-то странно начал заваливаться назад, тяжелеть. И вдруг со всего размаха рухнул на спину, увлекая за собой же-

ну. Ольга тут же поднялась на колени, схватив его голову, прижала к груди, захлебываясь от слез.

Приковылял на кривоватых, не совсем устойчивых ножках малыш, с минуту смотрел на отца, не понимая, почему тот решил вдруг лечь посреди двора. Потом вынул изо рта палец и, дергая мать за подол, насупившись, сказал:

— Мамка, а у нас котенок помел...

Генаш еще издали увидел возле своего дома трактор с санями. Во дворе мать ловила оранжевого красавца петуха.

— Василий приехал, обед затеяла, а тут мучаюсь с этим чертом. Ну-ка пособи, Геннадий! — крикнула она на бегу.

Генаш бросил на дрова кирзовую полевую сумку, с которой ходил в школу, чуть наклонился, развел руки в стороны. Долговязый, узкоплечий, в старенькой до колен шубейке, в разбитых серых валенках, он выглядел смешным и неуклюжим. Петух свободно проскочил мимо него и стал, горделиво подрагивая исклеванным в драках гребнем, косил глазом — багровым и прозрачным, как ягода-костяника.

— Ну, позвала на свою голову помощника, — рассердилась мать. — Руки-то чего держишь, как грабли? Не пускай его со двора. Выскочит, только потом и видели.

Петух важно зашагал к подворотне с явным намерением прошмыгнуть на улицу. Генаш успел его перехватить, но при этом задел валенком за оглоблю водовозки и растянулся во весь рост.

— О, господи! — мать всплеснула руками, — и ничего-то ты не умеешь. В кого только уродился такой квелый. Ушибся?

— Ушибся, ушибся... Охаеть, как над маленьким, — смущенно пробормотал Генаш, поднимаясь. Отдав матери отчаянно вырывавшегося петуха, поспе-

шил взбежать на крыльцо — чего доброго еще рубить заставит.

Дома сестра Таня, мелькая смуглыми локтями, раскатывала на кухонном столе тесто. Рядом на лавке сидела Любаша Хворостова в белом пуховом платке, в нарядной зеленой кофточке, выглядывавшей из-под расстегнутого пальто. Посмеиваясь, пощелкивая семечки, громко рассказывала что-то.

Генаш разделся и долго топтался у порога, обдергивал собравшиеся гармошкой рукава куртки, приглаживал волосы. Странно он чувствовал себя в присутствии этой курносой, с васильковыми глазами подруги сестры. Ему делалось неловко за свою внешность. Волосы, как солома под ветром, причесывай не причесывай — торчат во все стороны. На носу — точно постным маслом брызнули — веснушки.

Чтобы скрыть смущение, Генаш хмурился, старался казаться суровым. Вот и сейчас, неловко сутуля плечи, прошел к буфету, взял кусок черствого хлеба, отвернувшись, стал жевать.

— Ты подожди, — сказала Таня, — лапша скоро поспеет. Что же всухомятку? Ступай в горницу, тут мукой выпачкаешься.

— Пойдем, провожу, — предложила Любаша, и, вскочив с лавки, приоткрыла дверь в горницу. — Можно к вам, товарищи? Мы с кавалером. Присох на кухне, а у нас секреты свои, женские...

— А, Теннадий, — простуженно отозвался старший брат, — заходи.

Василий не был дома целую неделю, ездил за лесом. На морозе, под жгучим зимним ветром лицо его задубело, потемневшие скулы слегка шелушились. Небольшой, плотный, в полинялой солдатской гимнастерке, он сидел за столом со своим приятелем Касымом Ташаубаевым и что-то вычерчивал карандашом на листе бумаги.

— Садись, — кивнул брату. На девушку только чуть повел белесой бровью. — Докладывай, как дела.

— Ничего.

— Без всяких ЧП, стало быть? Порядок. Ну вот, — Василий снова склонился к чертежу, — заменить пере-

дачу, увеличить диаметр валика — и все пойдет, как часы. Будет тебе скорость и маневр.

— Погоди, друг! — горячо перебил его Касым. — Не совсем с тобой согласен. Откуда скорость? Откуда маневр? С неба свалятся? Бог даст?

— Я же толкую — валик переменить...

— Послушаем, как серьезные люди разговоры ведут про технику, может, и для нас какая польза будет, — Любаша уселась на сундук, покрытый лоскутным ковриком.

Генаш тоже присел, взял попавшую под руки книгу. Буквы прыгали перед глазами. Близкое дыхание Любаша, хруст подсолнухов на ее зубах, как будто окунали его в горячую воду. Помолчав немного, Любаша придвинулась, через плечо заглянула в книгу.

— Чем это ты так увлекся? Учебник? Хоть бы рассказал что-нибудь, просветил нас грешных. Кругом теперь пишут про атомную энергию да про спутников. А мы-то день-деньской возимся со своими буренками, и на лекцию сходить некогда. К примеру, вот ракета: что из себя представляет? Очень у меня большое любопытство узнать...

Генаш любил физику, читал журнал «Техника молодежи» и, пожалуй, в другое время сумел бы легко объяснить устройство ракеты. Но тут словно из головы все выскочило. В безуспешном напряжении морщил лоб, по-мальчишески шмыгнул носом.

— Эх, и скука же с вами, ученые люди, — вздохнула Любаша и покосилась в сторону стола. — Один читает, другие о машинах спорят. Нет бы пластинку завести, гостей развлечь...

Василий отложил карандаш.

— Давай, Касым, кончать. Выговор в наш адрес. — Встал, одернул гимнастерку, привычно коснулся пальцами пуговиц на воротнике. Больше года, как вернулся из армии, а привычка строго следить за собой сохранилась. Подобравшись, сразу как-будто сделался выше ростом. Включил приемник.

Любаша, едва зазвучала музыка, скинула пальто, потянула Генаша с сундука.

— Идем, научу танцевать!

Крепкими оказались маленькие руки доярки. Генаш, как ни пытался освободиться, не смог. Красный, смущенный до слез, неловко передвигал по крашеному полу валиками.

— А ты смелсе. Вот так! Выше ноги. Уже лучше получается, — дурашливо приговаривала Любаша и кружилась все быстрее и быстрее. Но стоило Василию приблизиться к ней, чтобы заменить брата, вдруг затихла, смешинки в глазах потухли. Отвела его руки от себя, странно напряженным голосом сказала:

— Я ведь пошутила насчет танцев. Так что уж извините, Василий Иванович. Некогда развлекаться. Нам вот уже и на дойку пора... — глянула на часы, взяла одежду и медленно как-то, будто связанная, вышла из горницы. Василий тоже вдруг помрачнел, вернувшись к приемнику, крутил рукоятку настройки, наполняя комнату шумом и треском эфира.

Сели обедать, Таня ставила на стол тарелки с лапшой, когда из кухни донеслось постукивание обмерзших валенок и глуховатый басок. Вошел, пригнувшись под притолокой, Степан Завязин — «верста», как называли его в деревне. Был он насколько высок, настолько и худ. Полупальто-москвичка едва доставало ему ниже пояса и болталось на узких плечах, как на палке. Валенки на тонких обтянутых бриджами ногах казались непомерно большими. И совсем уже несуразно выглядела на крохотной костлявой головке ондатровая шапка, рыжая и лохматая, как грачиное гнездо.

Ступив через порог, Степан снял шапку и разжал губы, обнажив дворяда тускло сиявших стальных зубов. Это у него обозначало улыбку.

— Ваккурат к застолью попал. Здравствуйте, стало быть, кого не видел.

По поводу своих зубов Завязин объяснялся неохотно и каждый раз по-разному: одним говорил, что их повыбивало у него на шахте машиной, другим — что выпали от цинги, когда работал по вербовке на Дальнем Севере. Но все почему-то склонны были верить третьей версии, что зубы выбили в драке, как он сам сболтнул однажды в пьяном виде. Степан после армии несколько лет пропадал неизвестно где, а потом в один

прекрасный день осенью вернулся вдруг к матери с одним фанерным баульчиком в руках. Нигде не работал, слонялся по деревне, заводил разговоры, прислушивался, приглядывался, шуря в непонятной усмешке подернутые белесью, круглые, как у совы, глаза. Односельчане, начавшие постепенно опасаться его праздного шатанья и подозрительного воровского взгляда, попросили председателя колхоза проверить у него документы. Степан явился в контору, показал паспорт, справку о болезни, после чего произнес целую речь тоном человека, глубоко обиженного незаслуженным подозрением.

Ни Василий, ни тем более Генаш, не подходили по возрасту ему в приятели. Но Степан зачастил к Прохоровым и даже доказывал, что приходится им родственником по какой-то дальней линии.

— Ну, други, счастливая наша компания,— говорил он с металлической улыбкой, вытягивая из карманов полупальто две заиндевевшие поллитровки.— Поверьте, я к магазину, а Варюшка на дверь замок вешает! В район собралась за товаром. Едва уломал. Держи-ка хозяин, в твои руки власть. Тамадой будешь.

— Как бы нам от матери не влетело, разворчится,— сказал Василий, отставляя водку за комод, в угол.

— Мы втихаря, для сугрева. Перед петушатинкой.— Степан разделся, переломившись над столом надвое, как перочинный ножик, со вкусом потянул в себя парок, исходивший от тарелок с лапшой, моргнул:

— Действуй, тамада!

Выпили. Степан сразу, вскинув голову, двинул острым кадыком, и на запотевших от холода стенках стакана осталось лишь несколько капелек. Василий долго держал зажатый в ладони стакан, морщился. Выпив, нюхал хлеб, сплевывал на пол. Привыкший во всем подражать товарищу, Қасым Ташаубаев и здесь последовал примеру Василия. Даже хлебную корку прижимал к носу.

Генаш смущенно смотрел на свою рюмку. Единственный раз в жизни год назад на свадьбе старшей

сестры, уступая просьбам зятя, отхлебнул он из рюмки и с тех пор вспоминал о водке, как о неприятном лекарстве. Он виновато посмотрел на брата, не зная что делать.

— Давай,— кивнул Василий,— чуть-чуть.

Генаш зажмурился, задержал дыхание и — была не была — выпил. Гортань обожгло. Он задохнулся, закашлялся, из глаз брызнули слезы.

— Не питок,— заключил Завязин и посоветовал.— Посыпь солью на хлеб — перебьет горечь. Водка не бифштекс, жевать ее нечего. Сразу нужно без поддержки отправлять к месту назначения. У нас на шахте такие, как ты, глушили кружками. Там закон — не пьешь, товарища не уважаешь. Ну-ка, Василий, добьем остальное...

— Хватит. Я ведь за сеном собрался.

— Вместе поедем. В чем дело? — Степан скользнул совиным взглядом по смуглой Таниной руке, подкладывавшей хлеб, выпрямился.— Такой артелью мы пять тонн доставим за один рейс. Пожалуйста!

Генаш давно хотел попроситься с братом, но все не решался.

— Вась, а, Вась,— сказал он,— можно я поеду?

— Матери помогай, управимся без тебя.

— Да я уже все сделал еще утром! И навоз убрал и дров наколол...

— Возьмем парня, пусть привыкает к физическому труду, поскольку в таком разрезе вопрос стоит теперь повсеместно,— заступился за него Степан.

— Ладно, подумаю,— согласился Василий и первым поднялся из-за стола.

* * *

Изменчива погода в марте. Совсем спокойный ветерок, подувавший с утра, внезапно окреп, и когда приятели, кончив обед, вышли на улицу, посвистывала, набирая силу, метель. Струи сыпучей поземки с шорохом текли по дороге. Островерхий сугроб возле забора курился белым дымком. В разрывах снежной мглы изредка холодно поблескивало солнце.

Буран встревожил Таню, выбежавшую за ворота проводить братьев.

— Обождат бы, Вася, до завтра! Не дай бог, расходится, а у вас у всех глаза соловые,— говорила она, кутаясь в платок.

— Ничего, Татьяна Ивановна, все будет в ажуре,— заверил ее Завязин.— Со мной не пропадут. На Дальнем Севере мне в такую пургу приходилось видеть — по канату ходили от дома к дому. А тут, не пурга — детская забава.

Пока ехали по улице, под защитой домов и заборов, ветер чувствовался сравнительно мало. Но за селом стал донимать всерьез — ошалело метался, швырял в лицо снегом. Генаш, сидевший на санях рядом со Степаном, чувствовал, как холод пролазит под шубенку, мурашками расползается по телу. От выпитой водки непривычно кружилась голова. В мыслях все стояла Любаша Хворостова. Вот если бы она оказалась сейчас здесь, рядом, на санях... Он не стал бы краснеть и отмалчиваться. Взял бы и сказал, что она нравится ему больше всех на свете. Нет, лучше ничего не говорить. Лучше совершить какой-нибудь подвиг, чтобы узнало все село, весь район... Остановил же прошлым летом Пашка Туравинин на покосе испуганных коней, мчавшихся по лугу с включенной сенокосилкой. Не побоялся, бросился навстречу. Объявили ему благодарность и премию от правления колхоза дали. А кто такой Пашка? Его одноклассник, вместе уроки учат. Или бы изобрести необыкновенную машину. А может быть, задержать шпиона? Тогда бы Любаша, наверняка, перестала бы подсмеиваться над ним, как над маленьким. Думать о Любаше было приятно и волнующе.

Завязин сидел нахохлившись, спрятав лицо в воротник москвички, ко всему безучастный. Он уже клял себя за то, что с дури, желая порисоваться перед смуглощекой сестрой Василия, назвался ехать за сеном. Дернул черт за язык, тащись теперь по морозу, мерзни.

Трактор шел рывками, переползал через затвердевшие переметы на дороге. И так же неровно — то отчет-

ливо, то совсем глухо долетало до Степана и Генаша тарактеные мотора. Порой кабина исчезала за клубами снега, и тогда казалось, что сани плывут в буране одни, сами собой. Но вот ветер вдруг как-будто несколько потерял силу. Его басовитое ленье притихло. Сани заскользили под уклон.

Генаш догадался: брат, чтобы сократить расстояние, поехал напрямик через озеро и сейчас свернул к спуску возле фермы. Точно в подтверждение его догадке к саням придвинулась пятистая масса — бык. За ним — второй. Очевидно стадо возвращалось с водоя. Животные неохотно уступали дорогу, воинственно нацеливали на машину рогами. Последней выступила из бурана фигура человека в тулупе, с пешней в руках. Человек махал обледенелой рукавицей, что-то кричал. Трактор прогремохал мимо.

Остановились в конце спуска. Василий высунулся из кабины:

— Эй, пассажиры, живы— нет?

— Живы,— угрюмо отозвался Завязин.— Чего там?

— Не советуем ехать по льду, опасно, говорит.

— А ты газуй, не обращай внимания. Прямая — кратчайший путь между двумя точками. Надо читать геометрию.

Василий с минуту раздумывал, потом кивнул: «Лалчо» и решительно захлопнул дверцу.

Озеро называлось Моховым или по-другому Родниковым. Говорили, что в нем бьют со дна теплые ключи, отчего лед не бывает прочным даже в самую стужу. Может, поэтому санный путь держался тут лишь до первых весенних дней. А брат вел трактор даже и не по дороге. Широленные кованые полозья саней скребли ноздреватый лед, на котором отчетливо отпечатывались следы гусениц. Генаша это встревожило. А что если ключи бьют где-нибудь близко? Своими опасениями поделился он со Степаном. Завязин высвободил нос из воротника, покосился на холодную, темневшую подо льдом глубину. Блеснул в усмешке металлическими зубами:

— Ничего не будет до самой смерти, друже. В Ан-

тарктиде люди на тракторах до полюса добираются, а мы какого-то паршивого озера испугались, где и воды-то воробью по колено в дождливый год. Главное нам с тобой сберечь тепловые каллории. Ну и дыши в варежку.

Слова его не успокоили Генаша. Он уже хотел соскочить, чтобы предупредить брата, но в это время под санями что-то тяжко ахнуло. Удаляясь, побежал отрывистый звук, похожий на чирканье коньков. По льду точно кто-то с молниеносной быстротой провел гигантским карандашом извилистую линию и тут же стал добавлять к ней со всех сторон ветвистые штрихи. Сани замерли, потом начали крениться вперед, становиться торчмя. Все, что лежало на них — жерди, вилы — поползло на лед. Генаш успел ухватиться за веревку, повис, поджав ноги, ожидая чего-то еще более страшного и неожиданного. А когда поднял голову и открыл зажмуренные от страха глаза — трактора не было. Посреди большого с зазубренными краями пролома в мутной взбудораженной воде торчала крыша кабины с фанерной заплатой и об нее, как живые, бились и звенели льдинки.

Все это было тоже неожиданно, и паренек в первую минуту даже не испугался, а только удивился. Пришел в себя только когда увидел Степана, соскочившего с саней и бегущего прочь.

— Дядя Степа! — окликнул Генаш. — Дядя Степа-а!..

Завязин оглянулся, махнул рукой и припустил дальше, пока не исчез в буране.

Первой мыслью Генаша было тоже бежать, очутиться как можно скорее в безопасном месте. Он уже готов был выпустить из рук веревку, но глянул на торчавшую из воды кабину и его болью пронзила мысль: а Василий? Он же остался там, не успел выско-чить.

Генаш заплакал. Глотая слезы, не отрывая испуганного взгляда от полыньи, нащупал ногой опору. Ох, как страшил его этот кипевший льдинами провал! Там был брат. Генаш шагнул к воде. Сообразил — в одежде нельзя. Одной рукой слепо расстегнул шубен-

ку, прихваченные морозом, мокрые валенки сами снялись с ног. В одной куртке, в носках, с болтавшимся на шее шарфиком, корчась от пронизывающего ветра, Генаш спустился по жердям вниз. Совсем некстати подумал: не в этом ли месте прошлым летом ловили они с дедом Полуниным карасей на наживу из кузнечиков? И поскользнувшись, пеловко бултыхнулся в воду, задев локтем что-то острое. От боли в глазах взметнулись искры, вода показалась кипятком: так обожгла. Казалось, стоит открыть рот — и вместе с дыханием вылетит сердце.

Генаш стиснул зубы. Вода доставала ему до подбородка. Ноги вязли в илистом дне, а вокруг осколками стекла звенело ледяное крошево. Он почти потерял сознание от холода, пока добрался к трактору и открыл залитую водой кабину. Тело брата показалось невероятно тяжелым. Генаш, захлебываясь, хватая ртом воздух, перетащил его на сани. Василий лежал на жердях лицом вверх, с закрытыми глазами, в мокрой некрасиво обтянувшейся шапке. Вода ручейками стекала с одежды. Большие в ссадинах, сизые от металла руки безвольно раскинулись.

Генаш склонился над братом, схватил за плечи, тряс, тормошил, переворачивал с боку на бок.

— Вась, а Вась, очнись! Слышишь? Ну, чего ты? Вася...— Потом вспомнил: Касым! И уже не замечая ни холода, ни ветра, хлеставшего снегом, снова полез в воду.

... Жарко. А солнце припекает, придвигается ближе. Поверхность озера вся в белых вспышках. Это блестят льдинки. Их очень много. Они движутся, напозают на берег, стеклянно звенят, ударяясь друг о друга. Одна из них прижалась к губам, скользнула холодной струйкой в горло. Донесся чей-то голос. Ах, это же дед Палуни! Он пришел рыбачить. Только почему он в тулупе, вместо удилица в руках пешня?

Генаш с трудом разомкнул липкие веки. Озеро исчезло, померкло солнце, и только льдинка по-прежнему ходила во рту. Но и льдинка оказалась не льдинкой, а носком фарфорового чайника, который держала чья-то маленькая рука, перехваченная у самой кисти

обшлагом зеленой кофточки. Генаш повел взглядом по рукаву вверх. Как из тумана проступило округлое лицо, светлые кудряшки на лбу. И тут же все пропало.

Когда Генаш второй раз открыл глаза после короткого забытья, он отчетливо разглядел склонившееся над ним лицо — Любаша Хворостова. Знакомая комната, светлая, тепло натопленная. Только кадка с фикусом была отодвинута от окна, чтобы не заслонять свет. Он лежал на кровати, накрытый до подбородка новым стеганым одеялом, которое мать стелила по праздникам.. Это было удивительно. Но больше всего удивило лицо Любаши: утомленное, с подпухшими губами, как после болезни. В василькового цвета глазах ни тени смешинки. Но они затеплились, ожили, едва паренек пошевелился.

— Тебе нельзя ворочаться, Гена,— испуганно сказала девушка и убрала чайник.

Генаш хотел спросить, почему она здесь, но слов не вышло, и он лишь с трудом двинул запекшимися губами.

— Лежи, лежи,— повторила Любаша.— Пить хочешь?

Генаш замотал отрицательно головой, высвободив руку, провел по одеялу.

— А,— поняла Любаша и улыбнулась.— Мы на тебя всю одежду побросали, ты так дрожал. Вторые сутки лежишь, как неживой. Только утром зашевелился. А сейчас ты спал. И еще спи. Тебе полезно это. Вон ведь какое купанье выдержал. Ужас!

В памяти Генаша, как кошмарный сон, встала картина: дымящаяся морозным паром полынья, утонувший трактор, брат, в залитой водой кабине... Точно ощутив снова каменную тяжесть его тела, Генаш весь напрягся, шепотом спросил:

— Где Василий?

Любашка заморгала, на выгнутых ресничках повисли прозрачные капельки.

— Живой Василий Иванович. В больнице он. Таня там с ним и тетя Маша... А ты — дома. За тобой Вера Петровна, доктор наш, смотрит. Ну и я забегаю.— Уловив во взгляде больного непотухавшее беспокойство,

торопливо добавила.— И Касым тоже жив, только плохо ему пока...

Про Степана Завязина Генаш не спросил. И Любаша ничего не сказала. Смахнув, как муху, упавшую на щеку слезинку, она склонилась к больному, виновато спросила:

— Ты не сердись на меня, Гена? Дура я настоящая, подсмеивалась над тобой от своей глупости. Чудиком тебя называла. А ты... оказался вон каким. О тебе уже и из райкома спрашивали, и корреспондент был: Не сердись, ладно? — И не дожидаясь ответа, прижалась горячими губами к его щеке.

— Это тебе за то, что ты такой хороший. И еще за Васю...

Генаш закрыл глаза. И хотя он весь еще находился во власти болезни, последние слова девушки дошли до его сознания очень хорошо. Но огорчился он ненадолго. Теперь он знал, что Любаша из-за Василия ходит к ним так часто. И нравится ей Василий.

Ну, что ж, он ведь тоже любит брата. И очень.

ОДИНОЧЕСТВО

.... страшно стариться тому,
Кто любовь, как мелкую монету,
Раздавал, не зная сам, кому.

С. Щипачев.

Было, по-видимому, поздно. Электрическая лампочка, подтянутая к столу шпагатом, заморгала и стала гаснуть. Сумрак наполнил комнату, предметы расплылись и потеряли очертания.

Председатель колхоза, старик-украинец, человек широкоплечий, кряжистый, в темноте казался великаном. Грузно повернулся он в скрипучем рассохшемся кресле, неловким движением свалил со стола пепельницу и, нагибаясь за ней, заворчал на своих колхозных энергетиков:

— От же бисовы дети, часу нет, а уже сигналят. Я же приказал: светить, пока все спать не полягают. Бачите, товарищ инженер, какой народ. Отходить ни от кого не можно.

Рябинин на ощупь завязывал шнурки у папки, промолчал. Предупреждение электростанции даже обрадовало его, — конец разговору. Весь день он провел на строительстве зернохранилища, вечер просидел на заседании правления колхоза в холодном, насквозь прокуренном кабинете, устал, замерз и только думал о том, как хорошо было теперь попасть в тепло, выпить стакан горячего чаю и завалиться спать. Никакие другие мысли не шли на ум.

— Договоримся так, Никита Иванович, — сказал

он, с трудом преодолевая дремоту, — зернохранилище продолжаете строить, а завтра я буду в тресте и решу в отношении других объектов. А сейчас давайте кончим на этом наши дела.

— Кончать так кончать, хай будет по-вашему, — согласился председатель. — Вы нам цементу подкиньте трошки, да стекла, да шифера. А остальное пойдет как по маслу. Бачьте, о! — Обрадованно поднял он палец и посмотрел вверх, — не всю, оказывается, хлопцы соевьсть пораструсили.

Лампочка, совсем было погасшая, снова стала разгораться, и в тот момент, когда Рябинин и председатель следили за ней — один равнодушно, второй с восхищением, — в кабинет неслышно вошла и остановилась у порога молодая, невысокого роста женщина в телогрейке и пуховом платке. Она поздоровалась. Голос ее, слегка глуховатый, приятного грудного тембра, показался Рябинину знакомым.

Еще не поняв как следует, кто эта женщина и продолжая думать о своем, Рябинин оглянулся, движимый чувством простого любопытства. С минуту вглядывался, весь проникаясь неясной и безотчетной тревогой. Потом побледнел, склонился к столу, стал торопливо свертывать хрусткие листы чертежей.

— Ты что притулилась в дверях, Дарья? Проходи, — сказал председатель.

— Наслежу я валенками. Говорите, Никита Иванович, зачем звали?

— Старую твою вызывал, а не тебя.

— Мама заболела. Лежит с температурой.

— Так ты, может, и не в курсе дела? Как там у нас в гостинице с местами?

— Как уехали артисты, так с тех пор и свободно. Один заготовитель живет, по вашему распоряжению.

— Ну, и добре. Отведешь вот товарища инженера. А заодно и познакомьтесь. Это наша главная воспитательница-заведующая детясями Дарья Петровна Фролова. А это — представитель строительного треста, не добром и не хлебом-солью будь помянута цей организации. — Председатель сделал многозначительный жест.

Рябинин пробормотал: «Очень приятно» и, овладев собой, поднял голову. Женщина продолжала стоять в дверях, в изнеможении прислонившись плечом к косяку. Лицо ее было запрокинуто вверх, губы сжаты. С не пошевелилась, не переменяла позы, только опущенные ресницы чуть вздрагивали.

— Идемте,— сказала тихо.

Рябинин не помнил как свернул и куда засунул калку. Одеваясь, он долго не мог ухватить пуговицы на полушубке и пока пробирался по темному коридору, мучился с ними, не поняв ни слова из того, что говорил ему председатель. Вскоре, распрощавшись, председатель ушел. Рябинин задержался на крылечке, заваленном толстым слоем мягкого пушистого снега, чиркал спички, стараясь прикурить. Снег падал густо, оседал на воротнике, на шапке, залеплял ресницы. Снежинки таяли, и крохотные струйки воды холодили и щекотали лицо. Спичечная коробка отсырела. Рябинин швырнул ее под ноги, шагнул с крыльца и тут же остановился в раздумии. Куда он идет, зачем? Не лучше ли, пока не поздно, вернуться и как-нибудь скоротать ночь в колхозной конторе, на диване?

Женщину он догнал за углом. Она шла, зябко сунув руки под платок, одинокая и маленькая среди мутной снеговой завесы.

— Даша,— сказал Рябинин, осторожно тронув ее за рукав,— не беги. Пойдем медленнее,— и когда она задержала шаг, спросил: — Ты узнала меня?

— А тебя это испугало?

— Не думал, что встречу тебя здесь, проговорил смущенно Рябинин, трудно поверить...

— В жизни всякое бывает...

— Да, конечно... Но как ты сюда попала? Ты ведь жила в Дубровном?

— Наши колхозы объединились, и я переехала.

— В саду, значит, больше не работаешь?

— Сад остался во второй бригаде.

— Понятно. А я вот приехал к вам строить,— сказал Рябинин.— Размахнулись вы в этом году: капитальное строительство на четыреста тысяч, больше всех в области.

Он хорошо понимал, что говорит не то, что нужно, но других слов не нашлось, и он умолк. Не поддержала разговор и Даша. Молча идя рядом, они пересекли широкую пустынную площадь и остановились возле дома с белой от снега, похожей на папаху соломенной крышей. Даша откинула жердяные воротца, провела инженера через сени, затем через кухню, и он очутился в просторной теплой комнате, где горела увернутая лампа и пахло керосином.

— Вот здесь располагайтесь. Кровать можете занять любую, — сухо сказала Даша и ушла, прикрыв за собой дверь.

В комнате стояло пять коек, заправленных светлыми байковыми одеялами. Белели поставленные углом подушки. На одной из кроватей похрапывал мужчина, укрытый поверх одеяла кожаным регланом. Возле пышущей жаром голландки сушились на табуретке белые фетровые чесанки.

Рябинин снял полушубок, бросил на кровать шапку, присел к столу, приглаживая ладонью волосы. Надо было собраться с мыслями, дать себе отчет в том, что произошло, все взвесить. Даша! Не такой ему представлялась встреча с ней. Был уверен, что она по-иному отнесется к его появлению, ждал упреков, жалоб, слез. Но ничего подобного не случилось. Она не сказала ему ни слова в укор. Больше того, обошлась с ним, как с совершенно незнакомым человеком. И то, что не надо было ни отвечать на упреки, ни оправдываться, обезоруживало Рябинина и не давало возможности решить, как себя держать дальше.

Так он просидел минут двадцать, ссутулившись, подперев руками крупную красивую голову с темными волнистыми волосами, чуть тронутыми ранней сединой.

Постучавшись, вошла Даша, поставила перед ним ужин: чай, хлеб, розовый кубик свиного сала на блюде. Рябинин благодарно кивнул и, когда она уходила, молча проводил ее долгим, внимательным и грустным взглядом. Он успел заметить: годы изменили Дашу к лучшему. Исчезла девичья угловатость, и вся она расшаркала и наполнилась той не очень яркой, не бьющей в глаза, спокойной и устойчивой красотой, которую не-

редко обретают женщины годам к тридцати. Даже в движении смуглых, полных дашиных рук, когда она ставила посуду, чувствовалось больше уверенности и ловкости. Лишь глаза, обрамленные густыми трепетными ресницами, были те же: глубокие-глубокие. В такие не заглянешь запросто, с налету.

Рябинин нехотя отхлебывал чай, жевал без всякого аппетита сало и все думал о Даше. В нем росли тревога и грусть. Он вдруг подумал, что Даша не только ему, а всем, кто ночует здесь, так же стелет кровать, так же поит всех чаем, разговаривает, и ревнивое чувство невольно шевельнулось в нем. Нахмурившись, он отставил стакан с недопитым чаем, встал из-за стола и, подойдя к окну, приблизил лицо к прохладному стеклу.

На улице по-прежнему густо валил снег. Ночь была белесой и мутной. Рябинин напрягал глаза, стараясь различить деревца перед домом, скрытые в сумятице падающих снежинок. В памяти отчетливо встало первое знакомство с Дашей Фроловой.

...Демобилизованный офицер, он учился тогда в строительном институте и приехал в Дубровное на практику. Однажды он с товарищами возвращался из МТС в село. По пути к ним присоединилась группа девчат-колхозниц, работавших в саду. Рябинин их почти всех знал, каждый вечер встречался с ними в клубе. Знал он и Дашу, но как-то не интересовался этой смуглой большеглазой девушкой, почти подростком.

Даша хорошо пела, верховодила подругами и была неутомима в работе. Садовое звено, которое она возглавляла, держало первенство в соревновании, а большие фотографии Даши и ее подруг висели на Доске почета перед конторой колхоза.

Студенты, товарищи Рябининой по практике, были в восторге от юной звеневой, а он не находил в ней ничего особенного. Ему больше нравилась другая девушка — учительница местной школы.

На пути в село, когда уже почти миновали березовую рощу, исчерченную множеством пешеходных тропок, хлынул проливной дождь. Все кинулись бежать, а Рябинин с Дашей, словно сговорившись, отстали и

спрытались под старой развесистой березой. В первые минуты густая листва защищала их, но потом со всех сторон потекли прохладные струи, оглушительно, словно над самыми головами, ударил и эхом раскатился гром. Рябинин вздрогнул, а девушка в испуге придвинулась к нему. Он почувствовал на своей щеке прикосновение ее влажных, пахнущих солнцем волос...

Потом, едва дождь утих, они бежали в деревню босиком, мокрые насквозь, и Рябину казалось, что мир изменился за те несколько минут, пока они стояли под березой. Учительница, которой он успел уже сказать что-то насчет своих чувств, отодвинулась на задний план. Даша заслонила ее. Начались встречи. Сначала короткие, на виду у всех, в клубе, а потом уединенные — где-нибудь за селом, в знакомой березовой роще или у озера. Чудесные быстролетные ночи, взгляды и поцелуи вместо слов...

Потом малолюдный железнодорожный полустанок. Теплые руки Даши и ее слова, сказанные в последнюю минуту взволнованным шепотом: «Мой муж!» Эта фраза несколько дней звучала у него в ушах, как призыв любви. Он скучал и томился первое время, писал письма. Однако боль разлуки вскоре притупилась. Сначала он после некоторого колебания пошел на танцы, потом кто-то из приятелей познакомил его с девушкой-студенткой соседнего вуза. Даша стала постепенно забываться, пока связь с ней не стала ему казаться обычным увлечением, каких у него было немало до этого.

Последний раз она серьезно занимала его мысли, когда Рябинин узнал, что у нее родился ребенок. Он был встревожен и напуган. Ребенок — значит семья, обязанности, заботы. Прощай холостяцкая свобода. Нет, это не входило в его расчеты. Он достаточно насмотрелся на своих женатых друзей, с их вечными хлопотами о семье.

Он тогда ни с кем не поделился известием, собрал сколько мог денег, выслал их Даше, поздравил ее телеграммой. Деньги на сына посылал он и потом, когда уже работал, хотя Даша ничего от него не требовала. О ней и о сыне Рябинин никому не рассказывал: начнутся всякие разговоры, пересуды. Поди потом докажи,

что брак у них не оформлен и, с точки зрения законности, за ним нет никакой вины.

Нельзя сказать, что он не вспомнил Дашу и не чувствовал никакого угрызения совести. Но он пользовался успехом у женщин, жизнь вполне его устраивала, и на раздумия о прежнем увлечении не хотелось тратить времени. Внезапная встреча все перевернула.

Рябинин опустил шторы, отступил от окна и, зажмурившись, с минуту стоял в каком-то оцепенении. Потом вышел на кухню.

Даша сидела возле стола, занятая работой. Она вздрогнула, обернулась на скрип двери и приподняла руки с шитьем: это была суконная ученическая рубашка с наполовину подшитым белым воротничком. Что-то похожее на растерянность появилось на ее лице и тут же исчезло.

— Ах, это ты,— сказала она, увидев Рябинина.— Я думала — отдыхаешь.

— Не спится. Можно присесть?— Рябинин придвинул табуретку, осторожно сел, положив руки на кромку стола, застланного старенькой, в чернильных пятнах и порезах, клеенкой. Посмотрел на маленькую рубашку в руках Даши и сразу понял: сына. В горле у него вдруг стал комок, и чтобы не выдать своего состояния, он нагнулся и покашлял в кулак.

— Прости, Даша, хотя и время позднее. Можно с тобой поговорить?

— О чем?

— Вообще... Нельзя же молчать после стольких лет. Что бы там ни было, однако...

— Я слушаю.

— Как ты жила, скажи?

— Как? — На затепленном волосами матово-смуглом лбу Даши проступила суровая складка.— А разве тебе не все равно, как я жила?

— Если было бы все равно, я бы не спрашивал.

— Жила. Как все... Обыкновенно. Может быть, не так весело, как ты.

— В моей жизни тоже не все просто и хорошо. Далеко не все. Не думай.

— У всякого свое.

— Я вот остался бобылем,— продолжал напряженно Рябинин.— Жены не завел... Ты замужем?

— Мой муж не вырос еще,— усмехнулась Даша уголками губ.— Кто же кинется на нас, баб? Девочек вон сколько, а кавалеры все на счету. Наша очередь последняя...

Рябинину хотелось возразить, сказать, что она красивая и мужа себе могла бы найти легко, но он удержался, тихо спросил:

— Тебе было трудно в эти годы, и ты меня ненавидишь, конечно?

— Что было — то прошло. Зачем об этом затевать речь?

— Кто старое помянет — тому глаз вон? — Рябинин попытался улыбнуться, но улыбки у него не вышло. Он поджал губы и нахмурился.— У тебя можно курить?

Поймав взглядом едва заметный кивок Даши, достал папиросу, прикурил от лампы и несколько минут сидел, завесившись дымом, не зная, что же дальше. Даша, склонившись, дошивала воротничок, иголка в пальцах у нее двигалась медленно. Поза ее показалась Рябинину горестной. Ему сделалось жаль ее, захотелось привлечь к себе, коснуться щекой ее пушистых волос, которые ему когда-то так нравились.

— Даша,— сказал он насколько мог нежно,— как сын? Он уже, наверное, ходит в школу?

— Да, учится во втором классе.

— Восемь лет! Человек! И уже свои заботы. Рано ты его отдала в школу. Ему не тяжело?

— Сережа у меня отличник,— сказала Даша, и Рябинин невольно задержал руку с папиросой у рта: с такой она гордостью произнесла эти слова. Ее сын! А как же он, Рябинин? Кем ему называть себя?

Некоторое время Рябинин сидел, как оглушенный. Даша поднялась, принесла маленький туго набитый ученический портфельчик, достала из него тетрадки и положила перед Рябининым.

Он взялся бережно перелистывать их, а сам повторял про себя слова Даши: «Сережа у меня отличник...»

Несколько минут назад он ее жалел, считал не-

счастливой и готов был покаяться перед ней в своих грехах. Но теперь, слушая, с каким неподдельным волнением рассказывает она о школьных успехах сына, видя ее разгоряченное, преобразившееся, счастливое лицо, он внезапно понял, что никакого сострадания она от него не примет и что, в сущности, она гораздо счастливее его. У нее сын! Материнские заботы наполняют ее жизнь. А что он сам имеет? Сын его не знает и никогда не назовет отцом. До конца дней наслаждаться свободой от семейных пут? Сомнительное счастье.

Порой он был не прочь прихвастнуть в кругу приятелей легкими победами над женщинами. Иные ему завидовали: «Есть что вспомнить» А дальше? Он одинок. Завтра он поедет в город, в свою неуютную холостяцкую квартиру. Может быть, переночует у него знакомая женщина и уйдет, оставив после себя запах духов и короткое воспоминание о случайной связи.

Рябинин горестно усмехнулся своим мыслям, привычным жестом пригладил волосы и еще ниже склонился к столу. Продолжал листать тетрадки, что-то отвечал на слова Даши, но делал все это машинально, как во сне. Даша казалась ему теперь далекой и потерянной навсегда. Что говорить ей, он не знал, и когда ее позвали из-за ширмы (сын или мать — не слышал) и она ушла, сложив тетради в портфельчик, он не стал ее удерживать. Вертел в руках ножницы и, точно отчитываясь перед каким-то суровым судом, перебирал в памяти последние годы своей жизни. Как он прожил их? В чем ошибка? Быть может, что-то еще не поздно исправить, сделать по-другому? Но как?

Он просидел долго. За ширмой слышался голос Даши, булькала наливаемая в стакан вода. Кто-то тихо стонал, по-видимому, мать. Затем все стихло. В тишине отчетливо было слышно, как тикает где-то будильник. Рябинин очнулся от раздумий. Зачем он сидит тут, чего ждет? Разве не ясно, что Даша больше не выйдет и разговор их окончен? Взглянуть бы на сына, но пустят ли его туда, за перегородку?

Лампа коптила, распространяя по комнате запах керосина. Рябинин тяжело поднялся, прикрутил фитиль. Вернулся к себе в комнату, где безмятежно хра-

шел обладатель фетровых чесанок, и, не раздеваясь, ничком свалился на кровать. Усталость и безразличие ко всему на свете охватили все его тело. Он лежал без мыслей, уткнувшись головой в подушку, зажмурился глазами, остро улавливая малейшие звуки. Вот зашуршали мыши под полом, треснула краска на жестяном кожухе печи, где-то на краю села одиноко пропел петух. Затем по улице прошла автомашина, — звякнули и точно занули оконные стекла. Комната на мгновение наполнилась голубоватым светом, на стену, как на экран кино, упали темные переплеты рам, поплыли вкось и растаяли под потолком. Снова стало темно и тихо.

Лежать без сна в жарко натопленной комнате сделалось невозможным. Рябинин поднялся, взял шапку и, натываясь в темноте на спинки кроватей, пошел к вешалке. На кухне, где все еще золотистым угольником мерцала лампа, задержался, со смутной надеждой: не покажется ли кто-нибудь из-за ширмы. Но там было тихо. Тогда он запахнул полушубок, сжал под мышкой потертую кожаную папку и, опустив плечи, шагнул через порог. Дверь беззвучно захлопнулась за ним.

В сиреновой мгле медленно падали редкие хлопья снега. Повсюду на заборах, на столбах, на остриях палисадников лежали рыхлые, как пена, белые шапки. Ноги по колено утопали в сугробах. Улица была пустынной. Только когда Рябинин подходил к конторе колхоза, от расположенной напротив лавки сельпо отделился сторож, подозрительно поглядел вслед одинокому прохожему. «Шатуший какой-то» — пробурчал старик, зевнул и стал сбивать рукавицей снег с воротника тулупа.

Сижу на обрыве у реки, в тени старого вяза, половина которого, отщепленная молнией, перегнулась вниз, засохла и мокнет в воде. На коленях у меня учебник физики, в руках тетрадь, и я обмахиваюсь ею, как веером. Жарко. Десятый час утра, а солнце палит нещадно и воздух горяч, как возле распахнутой топки. На белесом раскаленном небе ни единой тучки. Поля за рекой побурели от зноя. Над трактом, не опадая, стоит пыль, взбитая автомашинами. Бурое облако плывет через реку, добирается до меня, щекочет в носу. Хочется все бросить, обо всем позабыть и кинуться вниз головой в воду. Но у меня строго — перерыв через полчаса.

Позади слышатся шаги, и тотчас же прохладная ладонь осторожно зажимает мне глаза. Я делаю движение, чтобы отвести ее, но знакомый голос предупреждает:

— Чур, угадать!

Это Вера. Ладонь ее слегка касается моих ресниц, пальцы на солнце розовые, просвечивают, и от них пахнет черемухой. Видимо, по пути сюда она где-то сломала ветку. Я смущен ее внезапным появлением и потому медлю с ответом.

— Говори же скорее.

Выслушав мое невнятное бормотание, Вера отнимает руки, бросает на траву полотенце и садится, с улыбкой поглядывая на меня. Лучистые серые глаза ее, обрамленные густыми ресницами, щурятся. Пушистые,

посветлевшие на солнце брови, похожие на колоски спелой пшеницы, приподняты в веселом недоумении. Она покусывает травинку и с дружеским участием говорит:

— Труженник. Я наблюдаю за тобой минут десять, стояла вон за тем кустиком и смотрела. Ты же весь разомлел.

— Жарко,— говорю я и еще ниже склоняюсь над книжкой. Во мне сумятица чувств: мне радостно и хорошо от того, что Вера рядом, и в то же время тревожно.

— Что ты читаешь? — Вера берет у меня учебник, перелистывает его и удивленно качает головой.— Ну и ну! Такая баня, а он долбит формулы.

— Завтра экзамен,— уныло вздыхаю я.

— Николай говорит, что ты в большой недружке с точными науками. Это правда? — Серые, прищуренные глаза, посмеиваясь, смотрят на меня в упор. Я молча киваю. Я в чем угодно готов сознаться под взглядом этих глаз.

Вера — сестра моей невестки, жены старшего брата. Она — учительница, живет в совхозе и полмесяца назад приехала к нам погостить и отдохнуть. Но отдыхает она мало. По целым дням чем-нибудь занята: готовит обед, возится с пятилетней племянницей, ходит на рынок за продуктами. Мы иногда приходим с ней сюда купаться и каждый вечер, едва спадет жара, поливаем огород. Я достаю из колодца воду, а Вера разливает ее ковшиком по огуречным и помидорным лункам. Поливку я никогда не любил, но теперь эта работа меня увлекает, и я с удовольствием бегаю по узкой тропинке между грядками, балансируя двумя ведрами. Ведра тяжелые, на босые ноги мне плещет холодная колодезная вода. Но я ничего не замечаю. И это все из-за Веры. Мне нравится быть с ней, нравится ее голос, платье. И я очень жалею, что огород у нас размером не в гектар, а совсем маленький, и за полчаса мы успеваем полить его весь.

Сегодня Вера ходила на почту, звонила в совхоз, и настроение у нее немножко грустное. Она небрежно перелистывает страницы, и видно, что думает совсем о

другом. Потом закрывает книгу, встает и протягивает мне руку:

— Пойдем, искупаемся. После воды легче будет заниматься.

Я вспоминаю раздел, который не успел дочитать, и мне становится весело: неужели из-за этого можно отказаться от купания? Наверстаю потом! И я, уже не думая больше об учебнике, вскакиваю с земли.

— Догоняй! — говорит Вера и, размахивая полотенцем, как флагом, сбегает с обрыва. Я стремительно несусь вслед, хватаюсь, чтобы не упасть, за кустики полыни и останавливаюсь только у самой воды, на влажном песке, утрамбованном волнами.

Вера сидит на выступающей из воды коряге, вытряхивает песок из тапочек, смеется:

— Цел? А я думала, разобьешься. Такой долговязый.

Через минуту мы плывем. Вера ловко расталкивает плечом желтоватые, как чай с молоком, прохладные струи, быстро удаляется от берега, оборачиваясь ко мне, кричит:

— Не отставай! Отстанешь — пойдешь на станцию один!

Я стараюсь изо всех сил. Вечером возвращается из командировки брат. Вера обещала пойти со мной встречать его на станцию, и я опасуюсь, как бы она на самом деле не передумала. Настигаю ее у бакена. Вера пытается ухватиться за якорный канат, но я ловлю ее руку и мы оба, выбившись из сил, на секунду погружаемся в воду. Вынырнув, она сердито крутит головой, отфыркивается и совсем по-детски смешно шлепает по воде ладонями. Я помогаю ей взобраться на замшелые скользкие бревна. Вера отжимает мокрые волосы, смеется:

— Устала, еще бы десяток метров — и мне капут.

— Я догнал тебя, учти. Теперь тебе обязательно придется идти на станцию, — напоминаю я и сам ворovато гляжу на ее профиль, на потемневшие от воды косы, на смуглое плечо, покрытое алмазными капельками.

— Честное слово, я очень устала и наглotalась во-

ды.— Вера как бы не расслышала моих слов. — А вода такая теплая, противная. Брр! Слушай, Сережа, — спрашивает она вдруг, скосив на меня лукаво прищуренные глаза.— Что бы ты делал, если бы я стала тонуть?

— Постарался бы спасти.

— Спасти... Ты думаешь, это так просто? Надо быть смелым и сильным, чтобы броситься на помощь утопающему. И не всякий на это решится.

Мне обидно, что она не верит в мои силы. Я упрямо повторяю:

— Тебя бы я все-таки спас.

А самому хочется сказать гораздо больше, сказать, что ради нее я готов броситься куда угодно, не только в воду. Вера вдруг настораживается и даже на мгновение перестает возиться с волосами. Может быть, она догадывается о том, что у меня на душе?

Я отворачиваюсь и с тайной надеждой смотрю на реку. Хоть бы тонул кто-нибудь, что ли? Пусть бы Вера убедилась, что я не такой уж трус. Но река пустынная. С противоположного берега снова наплывает облако пыли, и глянцевая поверхность воды тускнеет.

Мы несколько минут сидим молча. Вера уложила волосы в тугий жгут и теперь, склонившись, задумчиво качает опущенными в воду ногами. Солнце палит нещадно, словно прожигает кожу увеличительным стеклом. неподвижный горячий воздух глушит звуки, и поэтому мы не сразу замечаем катер, который давно вывернул из-за изгиба реки и стремительно спускается по течению. Он проходит метрах в тридцати от нас, блеснув стеклами рубки. За кормой тянется пенная борозда. В обе стороны, как усы, разбегаются волны. Одна из них достигает бакена и бревна под нами шевелятся. Дрожат, уходя в глубину, солнечные блики.

— Поплыли обратно,— говорит Вера и осторожно соскальзывает в воду. Мокрые и усталые лежим на берегу, подставив солнцу спины. Плечи наши почти касаются. Вера подгребает к себе песок, кладет поверх холмика руки и, упершись в них подбородком, озабоченно говорит:

— Какой жгучий ветер. Что-то теперь делается в

степи? Если еще с неделю не будет дождя, травы высохнут, пострадают посевы.

Я знаю, она думает о совхозе. Через несколько дней Вера собирается уезжать. И я вдруг впервые осознаю, что это конец всему: нашим разговорам, веселой поливке огорода, этим купаньям. Конец тому особенному состоянию радости и тревоги, которое владеет мной.

— Вера,— говорю я тихо, а сам хмурюсь и отворачиваюсь, чтобы не выдать охватившего меня трепета,— не уезжай...

— Куда?

— К себе... в совхоз.

— Это почему же?

Не понимаю, что со мной стряслось. С внезапной решимостью, преодолев все страхи и опасения, выпаливаю:

— Я люблю тебя! И не хочу, чтобы ты уезжала...

Широко открытые доверчивые глаза Веры в растерянности останавливаются на мне. Белесые колоски бровей недоуменно взлетели вверх и замерли.

— Сережка, ты с ума сошел,— шепчет она.— Что ты болтаешь?

Вскочив на ноги, Вера оглядывается по сторонам, точно боится, что наш разговор могут услышать посторонние. Потом опускается на колени, тормозит меня и встревоженно просит:

— Сережа, милый! Перестань дурачиться. Ну, со знайся, ты ведь пошутил, да?

Стоит мне согласиться с ней, сказать всего одно слово, просто даже утвердительно кивнуть — и все обернется шуткой. Все останется по-прежнему. Но это выше моих сил. Я не могу и не хочу согласиться и упрямо, как молодой бычок перед ярмом, мотаю головой:

— Я сказал правду: люблю тебя...

— Боже мой, что он мелет! — Вера в отчаянии всплескивает руками.— Влюблен. Да разве можно говорить такое? Как тебе не стыдно? А если узнают Николай, Зина? Хорошие разговорчики мы тут с тобой ведем, нечего сказать. И чтобы я после этого пошла с тобой купаться. Ни за что! И на станцию не пойду.

Мне не хочется, чтобы кто-то узнал о моем объяс-

нении с Верой, но кто кроме нее самой может рассказать об этом? А она не скажет. Я чувствую это по ее голосу, в котором звучат едва уловимые дружеские нотки. В душе у меня рождается смутная надежда, и я, запинаясь от волнения, говорю:

— Мы уедем с тобой куда-нибудь в другой город... И никто не будет знать где мы...

— Уехали, ну,— соглашается Вера и теперь уже не с удивлением и растерянностью, а с любопытством смотрит на меня.— А дальше? Что потом станем делать?

— Жить...

— Жить.— Она грустно усмехается и, как ребенка, треплет меня по взлохмаченным волосам.— Честное слово, Сережа, ты совсем еще мальчик. Разве это так просто: жить?

— Но живут же другие?

— Чудак. Так ведь то другие. Взрослые. Ты вот еще и экзамены не сдал.

— Сдам. И если хочешь, сдам на «отлично»,— говорю я с вызовом. Меня начинает охватывать отчаяние. Ясно, что из моего объяснения ничего не вышло. Вера просто шутит со мной, как с маленьким. Я отворачиваюсь, прижимаюсь щекой к горячему песку. От стыда и обиды я готов плакать. Хочется убежать спрятаться, остаться одному. Моя неудача кажется мне катастрофой.

Вера, очевидно, понимает мое состояние и строго выговаривает:

— Ну, ну, не дури! Нехорошо. Любишь... Уедем... Придумал. Невозможно это, пойми. Тебе семнадцать лет, а мне почти тридцать. И выбрось, пожалуйста, из головы глупые мысли.

После этих слов Вера подходит к воде и долго стоит, трогая ее ногой. Потом возвращается, садится рядом, обхватив руками смуглые колени с вдавленными в них песчинками, и говорит, как бы рассуждая сама с собой:

— Ты думаешь у тебя настоящая любовь ко мне? Нет. Просто увлечение, в котором, может быть, я сама виновата. Такие увлечения в твоём возрасте бывают

нередко. И оно пройдет скоро. Ты сам убедишься, что не любил меня. Настоящая любовь у тебя впереди. Вот окончишь техникум, будешь работать, встретишь хорошую девушку. А я? — Вера делает паузу, словно не может найти ответа на вопрос, заданный самой себе. У меня есть человек, которого я люблю...

Человек этот — ее муж Павел. Он агроном. В прошлое лето Павел был у нас, и мы с ним подружились: ходили на охоту, рыбачили, косили сено. Он очень сильный, веселый и простой человек. И мне даже удивительно, что, говоря Вере о своих чувствах, я совсем забыл о нем. Забыл, что Вера его любит. Мне делается мучительно стыдно не только перед Верой, но и перед ее мужем. Я еще плотнее прижимаюсь лицом к песку, готовый зарыться в него с головой.

Голос Веры звучит дружески и чуть-чуть грустно. Я молчу и не слушаю. Я думаю о том, что вот закончу учебу и обязательно поеду работать в степь, в совхоз, и буду таким, как Павел: сильным, загорелым, неунывающим. И если встречу там с Верой, — она меня не узнает. Конечно, я постараюсь больше не говорить с ней о своих чувствах. Но кто может мне запретить сохранить их у себя в душе?

И еще думаю, что если когда-нибудь встречу девушку, то непременно такую, как Вера. Есть же, наверное, такие девушки?

Совхозная столовая — на самом краю поселка. Новый камышитовый домик с крышей из шифера одной стороной смотрит на грейдер, а другой — в степь. Прямо от крылечка стелется травяной ковер, расписанный блеклыми узорами ранней осени, и когда повариха Валя Аряшсва выбегает за чем-нибудь из кухни в тесный коридорчик, потное лицо ее приятно обдает душистым настоем мяты.

В роли поварихи Валя совсем недавно. Работала на току, но старый повар ушел, и, чтобы не закрывать столовую, послали ее. Заверили: ненадолго, пока подыщут человека. Но уже вторая неделя, а человека нет.

Столовая маленькая: кухня, кладовка, зал с тремя столиками и прилавком, за которым хозяйничает буфетчица Нина Гаврилюк. По сравнению с Валею — она ветеран: в столовой третий месяц. И внешность у нее другая. Валя небольшого роста, хрупкая, с пшеничного цвета волосами, выгоревшими добела на знойном степном солнце. У нее задумчивые голубые глаза и стеснительная улыбка. Нина наоборот — вся как сбитая, тугой груди тесно под полосатой штапельной кофточкой. Губы яркие, глаза с дерзким прищуром. Ее владения — за стойкой. Здесь под стеклом выставлен весь небогатый ассортимент буфетных товаров: папиросы «Беломорканал», спички, тарелка с пряниками каменной твердости и засохшим сыром.

Посетителей мало. В столовой пусто по целым дням. Девушки томятся. Валя с тоской смотрит сквозь

пыльное кухонное окно и чувствует себя как в клетке. Ее тянет к подругам на ток. Там хотя и трудно, зато виден какой-то результат. Хорошо поработала, похвалят. А здесь? В книге жалоб одни упреки. Больше всех шумит и бранится шофер по имени Виктор, которого девушки окрестили «Тарзаном» за пышные кудрявые волосы и атлетическое сложение.

Валя не знает, откуда он. Каждый день его потрепанный пыльный грузовик останавливается напротив столовой, и «Тарзан», играя надетыми на палец ключами от зажигания, взбегает на крыльцо, высокий, плечистый, без кепки, с всклокоченной цыганской шевелюрой. И еще с порога кричит:

— Эй, красавицы курносые, подавайте скорее вашу баланду, пока я добрый. Рассержусь — на голову вылью.

Валя боится сердитого шофера. Заслышав его голос, закрывается на крючок. Но «Тарзан» с чеком в руках вырастает перед раздаточным окном.

— Бурда опять, — говорит он демонстративно помешивая ложкой в тарелке, — картошка картошку догоняет. А дерете, между прочим, как в порядочной столовой. Ты, красавица курносая, имеешь представление о борще флотском, о супе-рассольнике, о бефстроганове? Или это для тебя марсианские понятия? Сделай хоть раз человеческую еду. А то, что же получается: государство на тебя деньги тратило, учило, а отдачи — никакой?

Валя молчит, виновато опустив руки. «Господи, — думает, — все шофера где-то обедают в другом месте, один этот прилип. И не унесет его.» Как объяснить ему, что никаких она курсов не кончала, и попала сюда случайно. Утешает она себя надеждой, что теперь уже недолго: должны же в конце концов найти ей замену.

Один раз «Тарзан» довел ее до слез. Раскричался за холодные щи, исписал последнюю страницу в книге жалоб и даже пригрозил наехать грузовиком на столовую, если обеды не улучшатся.

Валя, внешне спокойная, убирала со стола посуду, но слезы застилали глаза. Хватит, больше она не оста-

нется ни одного дня. Пойдет к директору совхоза и заявит прямо: работать не будет.

— А ты пошла его подальше, чего молчишь? — говорила Нина Гаврилюк, сердито сметая со стола хлебные крошки. — Этак будет каждый приходить да оскорблять. Пусть жалуется в рабкооп, если что не нравится.

Валя подняла голову, хотела ответить и промолчала, заметив в зале постороннего. За крайним столиком сидел пожилой, незнакомый человек в очках, в светлом пиджаке и светлом узком галстуке. Рядом на стуле лежала шляпа и потертый кожаный портфель, какие носят обычно командированные. Незнакомец заканчивал обед и жестом подозвал к себе девушку.

— Вас как зовут? — спросил он с улыбкой.

Валя ответила.

— Вы не обижайтесь, — сказал незнакомец, — парень погорячился. Очевидно, устал. Надеялся на горячий обед. Скажите, Валя, вы любите свою работу?

На девушку ожидающе смотрели увеличенные стеклами очков внимательные глаза. Валя потупилась, почему-то не решаясь произнести слово «нет».

— Ну, потом скажете, — согласился незнакомец и поднялся из-за стола. Но вы обязательно ответьте. Для себя. Учтите, вы повар, вы создаете настроение людям. А это очень важно.

Он взял портфель, надел шляпу и ушел. Валя отпесла посуду на кухню и в окно задумчиво проводила незнакомца взглядом. Показалось, уходит он недовольный. Его высокая фигура медленно, словно нехотя, двигалась вдоль улицы. И Вале подумалось: а сколько других уходят вот так же недовольными из столовой? И ведь это из-за нее. Щи, гуляш. Каждый день.

Впервые что-то похожее на угрызение совести шевельнулось в душе девушки. Стало неловко перед этим незнакомым человеком. Вспомнились его слова: «Создаете настроение людям...» Ей этого никто не говорил.

Вечером повариха раскалила плиту, и когда пришел «доктор», как успела окрестить незнакомца Нина Гаврилюк, наложила ему гуляш прямо с пылу. Но тот сл

плохо: поковырял вилкой в тарелке, вяло пожевал мясо. Валя встревожилась:

— Неужели опять остыло?

— Нет, нет. Все хорошо,— успокоил ее незнакомец.— Просто у меня что-то немножко не в порядке с аппетитом. Я выпью чаю.

Вид у него был болезненный. Рука, державшая вилку, подрагивала.

— Вам нездоровится? — участливо спросила Валя.

— Желудок шалит, отзвуки старой болезни. Но это пройдет.

— Может быть, вам сделать на завтрак... — Валя запнулась,— что-нибудь полегче?

В кладовой не было ничего, кроме мяса и крупы. Но она, не дожидаясь ответа на свой вопрос, уже уверенно повторила:

— Я сделаю.

— Заворожил он тебя. Чего ты ему пообещала? — недовольно спросила буфетчица, едва незнакомец вышел.

— Нина, скажи, что готовить, если больной желудок?

— Диету нужно: кисель, молоко, яйца. Да из чего ты готовить собираешься, чудачка?

— Найду,— с внезапной уверенностью ответила Валя.

Вечером она разыскала на квартире председателя рабкоопа. Тот брился, сидя перед зеркалом. Решив, что она пришла по поводу увольнения, досадливо поморщился:

— Скоро, скоро освободим. Подыскиваю человека.

Валя, набираясь смелости, посмотрела на его багровый широкий затылок.

— Я не за этим. Продукты нужны.

— А ты что же, не получала утром?

— Молоко нужно, яйца, сливочное масло..

— Все что есть — выдал. В кармане у себя не прячу.

— А я говорю, мне нужны продукты,— настойчиво повторяла Валя.

Председатель рабкоопа, с белой от мыльной пены

недобритой щекой, заскрипел стулом, повернулся с удивлением к девушке.

— Кого это ты собралась потчевать?

— Всех. Готовить настоящие обеды. А не... бурду. Стыдно же перед людьми. Каждый день одно и то же: щи, гуляш. Да разве так можно? Уборка. Время такое напряженное, а мы? — Валя умолкла, испугавшись своего громкого сердитого голоса.

— Да тебя какая муха укусила? — не без тревоги переспросил председатель рабкоопа, глядя на маленькую, обычно робкую девушку, стоявшую перед ним сейчас с таким воинственным видом. — Ты еще покричи при посторонних, чтобы разнесли о нас славу. Думаешь, столовая одна у меня на шее?

Полдесятка яиц и масло Валя раздобыла утром у хозяйки, где жила на квартире. А молоко принесла из дому Нина Гаврилюк.

— На, — протянула она обвязанную марлей кринку. — Приняла заказ, тоже мне. Дался ей этот дядька. Кто он?

— Я не спросила, — призналась Валя, бережно прижимая к коротенькой поварской куртке посудину с молоком.

Вдвоем девушки приготовили завтрак. Но «доктор» не пришел. Не появился он и в обед.

...Уже пятый час. В столовой перерыв до семи. Но Валя возится на кухне, понемножку подкладывает в плиту щепки: ждет. На улице тишина. Пройдет машина по грейдеру, всколыхнет на минуту знойный воздух, и снова ни звука. Но вот мотор всхрапнул под самыми окнами, хлопнула дверца кабины. На крылечке знакомые шаги: «Тарзан»! Кудрявая взлохмаченная голова просунулась в дверь.

Не ждала, красавица курносая?

Закрывается у нас...

Сердишься. Зря. Дай перекусить что-нибудь. Слова не скажу, честное шоферское. Со вчерашнего вечера во рту ни крошки, — парень сделал глотательное движение, большой, темной ладонью смущенно потер небритый щетинистый подбородок. — Два раза отмажал на мостовик и обратно. Понимаешь?

Валя решилаь.

— Садись за стол, принесу. Только руки вымой.

Она налила в тарелку рисовый суп, приготовленный для «доктора», достала из буфета хлеб. Поставила все это на столик в зале и ушла на кухню. На шофера старалась не смотреть — сердилась за недавнюю его ругань. Но по звукам, доносившимся из зала, чувствовала, с каким аппетитом тот ест. Ложка сначала звякала о тарелку совсем глухо. Потом чуть отчетливее и, наконец, зазвенела, поскребывая о дно.

— Красавица курносая, — позвал через несколько минут шофер, — может быть, ты и насчет второго расстараться?

Валя принесла биточки. Шофер изумился, подтянул тарелку к себе, понимающе подмигнул:

— От начальства припарка, не иначе? Дошли наши мольбы до бога. И первое, как полагается, и второе. Сила!

Вале стало приятно: похвалил человек, который до этого только кричал и ругался. И, может быть, оттого, что он в этот раз вел себя спокойно, Валя впервые разглядела его лицо: смуглое, обветренное и опаленное солнцем, с веселыми серыми глазами. И ничуть не страшное.

Девушкой вдруг овладело чувство какой-то приподнятости, и она сказала:

— Не будешь ругаться — сварю завтра щи из свежей капусты.

Шофер поднял голову — рот набит до отказа — удивленно захлопал ресницами:

— Неужели тебя трогает моя ругань? А я думал, как об стенку горох. И ездил нарочно, чтобы тебя позлить. Красавица курносая, да если хочешь, я все прежние излияния своего недовольства уничтожу. — Он вскочил из-за стола, взял книгу жалоб и, склонившись над буфетной стойкой, начал перечеркивать авторучкой свои и чужие записи.

— Вот, держи. Кстати, как тебя зовут? Могу представиться: Виктор Мельчаков, собственной персоной.

Перед самым закрытием в столовой появился председатель рабкоопа, грузный, в суконном синем кителе.

в начищенных до блеска хромовых сапогах, начальственно строгий. Прошел через зал, потер пальцами клеенку на столике: не грязная ли? Заглянул на кухню.

— Аряшева!

Валя положила мокрую тарелку вверх дном, медленно стряхнула воду с пальцев. Сейчас увидит исчерканную книгу жалоб. Лицо и грудь председателя, как в рамке, в квадратном раздаточном окне. Взгляд недовольный.

— Продукты получила?

Час назад возчик доставил в столовую корзину огурцов, мешок картошки с совхозного огорода и белый, весь в расплывчатых печатях деревянный ящик сливочного масла. Валя утвердительно кивнула.

— Ну вот, я же сказал: есть продукты — отдаю, не прячу. Зря только шумишь при посторонних. И ведь вроде девушка скромная. К тому же мы договаривались.

— О чем вы, Петр Кузьмич?

— Не знаешь будто? Писателю пожаловалась, — густые, цвета паленой кошмы, брови председателя рабкоопа укоризненно сдвинулись, в голосе прозвучала неподдельная тревога. — Распишет он нас теперь, приятно будет? На, просил тебе передать. — Протянул он небольшую книжку в коричневом переплете. Валя раскрыла ее. На вклейке портрет: человек в очках, в узком светлом галстуке. Знакомый внимательный взгляд. «Доктор!»

— Он, — сказала Нина Гаврилюк, заглядывая сзади. — Там что-то написано.

На следующей странице размашистая надпись: «Вале Аряшевой — человеку большой профессии. Уверен, что на мои вопросы вы ответили положительно. Желаю успехов. Автор.»

— Вот не знала, — вздохнула буфетчица, — хотя бы разглядеть как следует. Сроду не видела писателей. О каком это вопросе он говорит тебе?

— Потом, потом, — нетерпеливо перебил председатель рабкоопа, — а сейчас дело есть. Вот что, девчата, перестраиваться нам надо как-то на расширение. Столов парочку добавить, умывальник. Молодежь в

наш совхоз прибывает; человек пятьдесят. Чтобы был порядок. За одним вопросом кадровый решим, — председатель помотрел на Ваю. — Ты как, Аряшева? Работать будешь или уйдешь? Говори окончательно, чтобы потом голову мне не морочить.

Валя вместо ответа оглядела кухню, вспомнила шофера, которому обещала сварить щи из свежей капусты; и на губах ее задрожала растерянная улыбка.

Ответила за нее Нина Гаврилюк:

— Да о чем речь, Петр Кузьмич, поработаем, конечно.

И смуглая рука буфетчицы, как бы предупреждая возражения, мягко легла на плечи подруги.

СОДЕРЖАНИЕ

Огни Аксута	1
Ольга	100
Вьюга	100
Одночестие	104
У реки	114
Подарок	111